

Литературно-художественное издание



*Иные берега*

*Vieraat Rannat*

**02 (19) 2015**

Журнал Объединения русскоязычных  
литераторов Финляндии

*Suomen venäjänkielisten kirjailijoiden lehti*

Хельсинки 2015

*Helsinki 2015*

Главный редактор – **Ольга Пуссинен**  
Päätoimittaja – **Olga Pussinen**

Редакционная коллегия – **Л. Корниенко, М. Крошнева**  
Toimitusneuvosto – **L. Kornienko, M. Kroschneva**

Корректурa – **О. Пуссинен**  
Korrehtuuri – **O. Pussinen**

Компьютерная верстка – **Дарья Зуева**  
Tietokoneenmuotoilu – **Darja Zueva**

Журнал выходит два раза в год, весной и осенью.  
Aikakauslehti ilmestyy kaksi kertaa vuodessa, keväällä ja syksyllä.

Подписка на журнал принимается по электронной почте:  
Lehti tilaus e-mail:  
**inyeberega@gmail.com**

Информация о журнале расположена на сайте:  
Tiedonanto lehdestä:  
**http://inyeberega.org • http://finlito.tk**

Тексты для публикации принимаются по электронной почте:  
Julkaistavia kirjoituksia otetaan vastaan osoitteessa:  
**inyeberega@gmail.com**

При перепечатке ссылка на журнал обязательна.  
Позиция редакции может не совпадать с точкой зрения авторов.  
Присланные материалы не рецензируются.  
Издатель: Объединение русскоязычных литераторов Финляндии.

.....

Lähde mainittava kirjoituksia lainattaessa.  
Lehden kanta ei välttämättä ole sama kuin kirjoittajan kanta.  
Lähetettyjä aineistoja ei arvioida.  
Julkaisija: Suomen venäjänkielisten kirjailijoiden yhdistys ry.

Издание осуществляется при финансовой помощи  
Министерства образования Финляндии.  
Julkaiseminen tapahtuu Suomen opetusministeriön rahallisella tuella.

© **Иные Берега Vieraat Rannat 2 (19) / 2015**  
© Inye Berega Vieraat Rannat, 2 (19) / 2015

## Содержание • Sisältö

### Книги наших авторов Meidän jäsenien kirjoja

#### Нина Гейдэ. В чужом раю.

*Nina Gade. Vierassa paratiisissa* ..... 6

### Проза и поэзия

*Proosaa ja runousta*

#### Алексей Ланцов. Стихотворения.

*Aleksey Lantsov. Runoja* ..... 7

«Мать-одиночка — мать ангелочка...»

”Yksinhuoltaja-äiti — enkelin äiti...” ..... 7

«Девятое мая...» ”Yhdeksäs toukokuuta...” ..... 8

#### Александр Емельяненко. Стихотворения.

*Aleksandr Jemeljanenko. Runoja* ..... 9

Из цикла «Направления осей» ”Akselien suunnat” sarjasta ..... 9

«Два белых корабля в тумане млечном...»

”Kaksi valkoista laivaa maitosumussa...” ..... 9

Восточное *Itämäinen* ..... 9

Розыгрыш в госпитале Эдуарда VII *Pilailu Edward 7. sairaalassa* ..... 10

«Как бороться с тараканами, знаю...»

”Tiedän, miten taistella torakkien vastaan...” ..... 11

Трагедии в Японии *Tragedia Japanissa* ..... 11

Баллада о пожарниках *Balladi palomiehistä* ..... 11

Шереметьево-2 *Sheremetjevo-2* ..... 12

Окна Интернета *Netin ikkunat* ..... 12

«Когда поедешь из Торонто в Монреаль...»

”Kun matkustat Toponnosta Montrealiin...” ..... 12

#### Роман Файзуллин. Рассказы.

*Roman Faizullin. Kertomuksia* ..... 13

Щенок. *Koiranpenttu* ..... 13

Первый снег. Точка невозврата *Ensimmäinen lumi* ..... 17

Две звезды *Kaksi tähteä* ..... 22

Моя могила — планета Земля

*Minun hautani — planeetta Maa* ..... 25

**Дмитрий Шабанов. Стихотворения.**

<i>Dmitri Shabanov. Runoja</i> .....	29
«Голимое уныние мое...» <i>"Minun puhdas masennukseni..."</i> .....	29
«Миша едет на травобусе...» <i>"Misha ajaa travobussilla..."</i> .....	29
Надпись под книгой <i>Kirjoitus kirjan alla</i> .....	30
Белые пятна <i>Valkoiset tahrat</i> .....	31
Версия конца <i>Lopun versio</i> .....	32
Эскиз № 8 (проточный) <i>Luonnos nro 8 (virtaava)</i> .....	33
Пасха <i>Pääsiäinen</i> .....	34
Начало <i>Alku</i> .....	34

**Леонид Корниенко. Скотч. Рассказ.**

<i>Leonid Kornienko. Teippi. Kertomus</i> .....	35
---	----

**Роберт Винонен. «Слов взметенные листья...» Стихотворения.**

<i>Robert Vinonen. "Sanojen sinkautelleita lehtiä". Runoja</i> .....	39
«Посмотришь на русского острым глазком...» <i>"Katsoo venäläiselle teräsilmällä..."</i> .....	39
Тающее предложение <i>Sulava lause</i> .....	39
«В начале было Слово...» <i>"Alussa oli Sana..."</i> .....	40
«Чистый лист неизбежно глубок...» <i>"Puhdas lehti on välttämättömästi syvää..."</i> .....	40
Осенние игры <i>Syysleikit</i> .....	40
Шаги познания <i>Tiedostamisen askelet</i> .....	40
«Бывал горяч, но стал я старше...» <i>"Olin kuuma, mutta tulin vanheksi..."</i> .....	40
Общество инвалидов <i>Invalidien seura</i> .....	40
«Я в сыновьях опоры не нашел...» <i>"En löytänyt tukea pojista..."</i> .....	40
«Лишь в итоге мы понимаем...» <i>"Vaap lopussa ymmärrämme..."</i> .....	40
«Когда вконец устанем...» <i>"Kun tulemme aivan väsyneeksi..."</i> .....	40

**Наталья Мери. Стихотворения.**

<i>Natalia Meri. Runoja</i> .....	41
Город <i>Kaurunki</i> .....	41
Свадьба в Дюссельдорфе <i>Häät Düsseldorfissa</i> .....	42

**Мария Розенблит. Петенька. Рассказ.**

<i>Maria Rozenblit. Peten'ka. Kertomus</i> .....	43
--	----

**Наталья Редозубова. Стихотворения.**

<i>Natalia Redozubova. Runoja</i> .....	50
Памяти В.Б. V.B. <i>muistossa</i> .....	50
Имя <i>Nimi</i> .....	51
«Спотыкающимся нужен костыль...» ” <i>Kompastelevat tarvitsevat kainalosauvan...</i> ” .....	51
Фигурки <i>Ihmiskuvia</i> .....	51
«Стихи в альбом...» ” <i>Runot albumiin...</i> ” .....	52
Прощеное воскресенье <i>Sovintosunnuntai</i> .....	52
Пасха Христова <i>Jeesuksen Pääsiäinen</i> .....	52
Звук <i>Ääni</i> .....	53
«Оправдаю, прощу, забуду...» ” <i>Puolustan, annan anteeksi, unohdan...</i> ” .....	53
«Вдруг оголятся старые раны...» ” <i>Yhtäkkiä vanhat haavat paljastavat...</i> ” .....	53
Воздух <i>Ilma</i> .....	54
«Все в солнечных февральских бликах небо...» ” <i>Koko taivas on helmikuun auringonläikissä</i> ” .....	54

**Мемуары  
Muistelmia**

**Людмила Яковлева. Мое саратовское детство.**

<i>Ludmila Jakovleva. Minun lapsuuteni Saratovissa</i> .....	55
--	----

**Литературная критика и публицистика  
Kritiikkiä ja lehtikirjoituksia**

**Нина Гейдэ. Ловитель моря на приманку строк.**

<i>Nina Gade. Meren pyydystäjä rivien onkeen</i> .....	69
--	----

**Александр Сенкевич. Уроки от Сергея Голлербаха.**

<i>Aleksandr Senkevich. Oppitunteja Sergej Gollerbahilta</i> .....	77
--	----

## Книги наших авторов



### Нина Гейдэ. «В чужом раю».

Видеокнига.

Музыка и видеоряд: В. Алешин.  
Время звучания диска: 35 мин. 06 сек.  
Тула, студия «Родник». 2015.

Видеокнига Нины Гейдэ «В чужом раю», представленная в формате видеодиска, состоит из предисловия и четырнадцати стихотворений (отдельных видеоклипов), отражающих диалектические процессы самопознания эмигранта в чужой языковой, культурной и эмоциональной среде. При этом понятие «эмиграция» рассматривается автором шире, чем переезд из одной страны в другую. Это еще и разговор об эмиграции из детства, от одних ценностей бытия к другим; философские размышления о жизни человека в современном глобальном мире, где расставлены ловушки искусственного — «чужого рая», изначально не близкого душе.

Стихотворения читает лауреат Всероссийского конкурса художественного слова, руководитель клуба тульских православных писателей «Родник» Владимир Алешин.



Поэт и художник. Родился в Красноярском крае. Окончил филологический факультет Ульяновского педагогического университета имени И. Н. Ульянова. С 2006 года живет в Финляндии. Член Объединения русскоязычных литераторов Финляндии. Автор книги стихов «Русская тоска» (2003) и монографии ««Будут все как дети Божи...»: Традиции житийной литературы в романе Ф. М. Достоевского «Братья Карамазовы»» (2011).



## ПОЭЗИЯ И ПРОЗА

### *Runousta ja proosaa*

**Алексей Ланцов**

*Aleksey Lantsov*

\*\*\*

**М** ать-одиночка — мать  
ангелочка,  
Юная статья.  
— Ваш ангелочек — сын  
или дочка?

— Да как вам сказать...

В «Старбаксе» хмуро. Бюст Эпикура.  
Странен ли мир?  
Мир — это, в сущности, схема, структура...  
— Хочешь пломбир?

Те или эти схемы и сети —  
Игры ума.  
Знают теперь европейские дети:  
Пол — не тюрьма.

Трансгуманисты, все вы речисты,  
Все хороши.  
Вы не мошенники, не анархисты,  
Не алкаши.

Ваши тревоги — люди убоги —  
Верный посыл...  
— Душу мне рвешь... твой малыш  
светлоокий —  
Дочь или сын?

Кто же он — отрок, отроковица?  
Вот я урод!  
Что я пристал? Заскучала девица,  
Кофе не пьет.

— Слышал про гендер? — спросит,  
как ментор  
Ученика.  
— Впрочем, он — мальчик,  
звать его Петер.  
Но это — пока.

\*\*\*

**Д**евятое мая. Апгрейд сайта Молотова-Риббентропа.  
Атлантида всплыла на минутку взглянуть — жива ли еще Европа?  
Америка развела огонь, побросала туда каштаны.  
Десантники ходят строем, ищут взглядом фонтаны.

В Антарктиде пингины играют в снежки. Пингвинья «Зарница».  
Лодка подводная старая есть у них, а в ней — кости фрица.  
Есть аппарат шифровальный «Энигма», можно послать шифровку  
Полярникам неподалеку, но нет в этом толку.

Девятого мая с утра родственники ветерана  
Смотрят парад, поминают своего Василия или Ивана.  
Молодой боец улыбается им на фото без фотошопа  
И тоже как будто хочет узнать: жива ли еще Европа?

В общем, все хотят что-то узнать, в фаворе эксперты.  
Будет ли завтра война? Рассекретят ли документы?  
Году в сороковом вопросы были, пожалуй, не хуже.  
СССР не давал ответы на них, а создавал «Катюши».

Впрочем, в сороковом уже мы Финляндию брали.  
Иван и Василий, на вашей груди звенели уже медали.  
Отсвет багровый знамен озарял ваши лица,  
Музыка ваших имен пугала в подлодке фрицев.

В сорок пятом бежали они в Антарктиду или еще куда-то.  
Встречу на Эльбе как вы забыли, ребята?  
Зачем полезли в чужой огонь доставать каштаны?  
И, кстати, десантники наши готовы брать штурмом не только фонтаны.

8

2015





*Родился в Бугульме, детство прошло в Челябинске, в настоящее время живет в Москве. Окончил физический факультет МГУ имени М. В. Ломоносова. Доктор физико-математических наук, ведущий научный сотрудник.*

*Автор поэтических книг «Песнь соловья» (2001) и «Уровень жизни» (2015). Стихи публиковались в многочисленных журналах и сборниках. Староста литературной студии МГУ «Луч».*

## Александр Емельяненко

*Aleksandr Jemeljanenko*

### Из цикла «Направления осей»

\*\*\*

**Д**ва белых корабля в тумане  
млечном  
Себе тихонько плыли, как могли.  
Они мешали думать мне  
о вечном  
И закрывали горизонт Земли.

Два белых корабля, еще реальных,  
И потому без горести большой  
Они меня, как будто, потеряли  
В стране безвестной, доброй, но чужой.

Гудели трубы, трапы поднимались.  
Из-за спины глядели сотни глаз.  
И мне казалось, что не мы прощались,  
А те, кто видел, но не выдал нас.

К ним отрицая всякую причастность,  
Я от причала убежал на мыс.  
Я час смятенья принимал за счастье,  
И часть сомнений принимал за мысль.

### Восточное

**В** этом море есть остров, хранящий сокровища.  
В этом солнце есть пятна, которых нам не сосчитать.  
И, наверное, в жизни нам важен лишь плотник и кровельщик,  
Чтобы строить плоты и сгоревшие крыши латать.

Я ни тот, ни другой, и, наверное, нет бесполезнее.  
Но плыву я по морю, и солнце прикрою рукой.  
Все, что я отыскал, — это длинное тонкое лезвие,  
Чтобы резать и резать наш сон и покой.

От сегодня до завтра — отель и гостиница.  
От вчера до сегодня — общага, отель.  
Я пират, я прожженный, законченный Стивенсон,  
Несмотря на прогноз: минус тридцать, метель.

Я гляжу на листву — ни метели, ни минуса.  
И девчонка из бара поет на чужом языке.  
Я невинен, как прежде. Нет, я теперь innocent.  
Я достигну нирваны, а попросту, буду в тоске.

И ни шторм, ни ромбовый выгнутый вычурный раструб  
Не сыграют на нервах и не растеряют талант.  
Мой прощальный мотив зазвучит, запоет, словно «здравствуй».  
Только здравствуй, мой милый, мой дивный Тайланд!

Нет ухода от нас. Нет прихода за нами.  
И нет счета оставшимся солнечным дням.  
Только кони несутся. И где-то цунами  
Развевает заливки и мчится, подобно коням.

## **Розыгрыш** **в госпитале Эдуарда VII**

*Жасинте Салданье,  
медсестре герцогини Кембриджской*

10

**Е**сли фортуна к тебе не совсем благосклонна  
И никогда не дает тебе шанс на борьбу,  
Можешь нажать на курок своего телефона  
Лучшей модели, а можешь и вовсе — б/у.

Госпиталь в Лондоне. В белых халатах спецслужбы,  
Будто готовы отцовство свое подтвердить.  
Дождь за окном. И британские чистые лужи,  
Словно врачи, никому не хотят навредить.

Бедный наследник не может пока удивиться  
И распознать наперед из своей скорлупы,  
Как нелегко изначально на свет появиться,  
Не оказавшись участником чьей-то судьбы.

Смена престолов, как пестрый набор декораций.  
Смех, да и только! Насмешка сама приползла,  
Чтобы увидеть, как трубку берет папарацци.  
И медсестра свою трубку послушно взяла.

Если раскрытая тайна смеяться не хочет,  
То не пытайтесь услышать приколы в ответ.  
В шутках она неразборчива, как ее почерк  
В бланке рецепта. И как интонация Вед.

Мокрые листья к стволам обреченно прилипнут.  
Мимо проедет по листьям другим «мерседес».  
Дети любимую маму случайно окликнут.  
Мама ... раскрытая вена монарших сердец.



\*\*\*

**К**ак бороться с тараканами, знаю:  
Засыпаешь весь чердак дустом.  
Бюрократии твоей знамя  
Возвышалось над моим  
искусством.

Если в доме муравьи, — плохо.  
Значит, в дыры заливай воду.  
Канцелярии твоей вохра  
Прячет под полом мою свободу.

Если за морем дела худо,  
То считай, что муравьев нету.  
Ну а крысы не ушли покуда,  
Мы не верим ни в одну примету.

Я забрался на чердак — дурно.  
Слез в подвал и весь промок вскоре.  
Я во двор, — а во дворе — море:  
И качает, и шумит бурно.

Прикажи — меня спасут крысы,  
Потому что их пока много.  
Но я плаваю теперь быстро,  
Да и выхода уж нет иного.

## Трагедии в Японии

**Я** помню город и людей из детства.  
О людях летопись не вспомнит  
никогда.  
Как в памяти ничто не может  
затереться,  
Казалось, так же нерушимы города.

Казалось, если сами мы уходим,  
То будто в этом только вечность  
есть и даль.  
Но записал Кирилл, и подтвердил Мефодий,  
А я не видел, как исчез Сендай.

Уснуть в Японии бывает нереально,  
Не то что день прожить в объятых суеты.  
Но в этот раз я спал легко,  
вполне нормально,  
И не признал живущей в городе беды.  
Ни скорость и ни свет — продукт  
электростанций,  
Ни долговечность мудрых старцев, —  
Ничто не выдало ее японских глаз.  
Беда устала спорить, торговаться  
И штамповать детали на заказ.

Слепая музыка играла на платформе:  
«Прощание славянки» на восточный лад.  
Я на вокзалах не могу без кома в горле,  
И не предвидела беда такой расклад.

Она не подойдет, пока мы плачем,  
Пока мы умираем, но кричим.  
Ей проще тем, чем слаще.  
Поэтому мы солим и перчим.

## Баллада

### о пожарниках

*Бастующим английским пожарным*

**П**ожарников не стало на Земле.  
Над кем теперь злорадствуют  
пожары?  
Забыв на время о добре и зле,  
В двери вильнул хвостом огонь  
поджарый.

Он больше не услышит вой сирен  
И потеряет всякую сноровку.  
Надежда вновь на «ветер перемен»,  
Что в этот раз уйдет на забастовку.  
Когда огнем охвачены дома,  
Когда спасенья нет, когда несчастье,  
Так принято: работать задарма,  
Как требуют опасности и власти!  
Так было на планете много раз:  
В Америке, Австралии, России,  
Когда из подворотен и террас  
Живых еще бесплатно выносили.  
Пожарники Нью-Йорка, что в пыли  
Оцепенел, как Статуя Свободы,  
В высотку и в историю вошли,  
И, может быть, дошли до небосвода.

## Окна Интернета

\*\*\*

**П**роходят направления осей  
Сквозь карты необъятных  
географий.  
Но лица просветленные друзей  
Глядят из Интернета  
с фотографий.

Заглянешь в приоткрытое окно —  
Так много светлых окон в Интернете:  
И счастья, и любви — полным-полно.  
Нет горя, нет страданья на планете.

И станет ясно: с другом не пройти  
Ни часть пути, ни долю этой части,  
Когда, земным законам вопреки,  
В глаза твои посмотрит он с участием.

И так непонимающе звенит  
Звонок его второго телефона,  
Что первый, не колеблясь, упразднит  
Все правила и знаки светофора.

Ты выбежишь, земной смущая шар,  
Наперерез машинам и трамваям,  
Которые увозят и спешат  
Навстречу бесконечным расставаньям.

**К**огда поедешь из Торонто  
в Монреаль,  
Ты не бери с собой хорошую погоду.  
Достань поношенную  
старую мораль  
И отправляйся: там уже полно народу.

Когда проскочит яркий свет по проводам  
И на всю жизнь с тобой поселится законно,  
Мой друг, не принимай его за Нотр-Дам,  
Но пусть он станет освещением вагона.

Когда сверкающие блики казино  
На берегу Онтарио играют,  
Ты понимаешь, что уедешь все равно,  
И можно шторы своевременно задрать.

Ты провезешь в полузашторенном купе  
Безумный отзвук пионерского мотива,  
Таганку, Белый Дом, ГКЧП,  
Развал Империи и отдых на Мальдивах.

Когда поедешь из Торонто в Монреаль,  
Ты не бери с собой хорошую погоду.  
Достань поношенную старую мораль  
И отправляйся: там уже полно народу.

## Шереметьево-2

**М**ы несемся в экспрессе. Москва позади.  
Я уже не впервые на этом пути.  
Как пропеллер, больная ревет голова!  
Вот, пожалуй, и все: Шереметьево-2.

Чемоданы, коляски. Мелькает табло.  
Все молчат, понимая, что время прошло.  
Далеко — города, где по рюмке плеснув,  
Два твоих старика вспоминают весну.

Вот прощальные кто-то роняет слова.  
Слышишь — в эхе ветров, Шереметьево-2?  
Ты был нашей наивной мечтой.  
Как нелепый мираж, нас пленял красотой  
Твой хрустальный дворец. И для нас, дикарей,  
Так свободой сквозило из тонких дверей!

Но когда в эти двери, один за другим,  
Уходили друзья, — ты исчез, словно дым!  
И теперь — ни дверей, ни пролетов резных:  
У тяжелых ворот, на подмостках стальных  
Долго будет в раздумьях слезу утирать  
Безутешная бедная Родина-Мать!



Родился в Стерлитамаке. Публиковался в журналах: «Нева», «Крещатик», «Юность», «Сибирские Огни», «Новая Швейцария», «Гвидеон», «НГ-Exlibris», «Бельские просторы», «Другие люди», «Вокзал», «Арт-шум», «Флорида» (США), «Новая реальность», в сборнике финалистов фестиваля «Молодой литератор» (Нижний Новгород, 2009) и других изданиях. Лонг-листер премий «ЛитератураРентген» (2007), «Дебют» (2009, 2010), «ФлоридаКон» (США, 2011). Финалист Илья-премии (2008), всероссийской премии «Послушайте!» (2013), Григорьевской премии (2013), Международной литературной премии им. И. Ф. Анненского (2014), Филатов-феста (2015). Финалист Илья-премии (2014).

## Роман Файзуллин

Roman Faizullin

### Щенок

Дверь была не заперта, и мы вошли. Стоял едкий запах собачьего дерьма, и я понял, что в квартире живут не только люди. Юра перешагнул через кучку белых сухих какашек и проследовал в спальню. Я на кухню. На полу лежал бородатый мужчина бомжеватого вида. На вид лет сорок пять — пятьдесят. Один рваный ботинок отброшен в сторону, второй натянут на босу ногу. На подоконнике грязные банки, пепельница с окурками, сухари. Некоторые куски уже покрылись черной плесенью.

— Хуйня какая-то, — выругался Юра, вернувшись из спальни, — ничего нет. Только клопы и тараканы.

— А ты чего ожидал? — хмыкнул я. — Посмотри в холодильнике. Юра открыл старенький, с засаленным темным пятном вокруг ручки на покосившейся двери, «Юрюзань», что стоял у стены.

— Во бля! — воскликнул он, — тут око-рока и колбаса! И даже банка тушенки!

Ну хоть что-то мы сегодня поедим.

Не помню, сколько уже не ел. День, два, три... Неделю? Когда все время пьешь, о еде как-то забываешь. На второй план уходит. Хотя и хочется, конечно.

Мы положили провиант в черный измятый пакет, воняющий старым салом, найденный здесь же, в холодильнике. Я помочился в неработающий

унитаз. В сером туалете с пожелтевшими обоями жутко воняло. Смыв не работал. Судя по всему, коммуникации в этом доме уже десятки лет не функционируют. Когда я вышел из туалета, откуда не возьмись появился щенок (плотненький меховой карапуз белого окраса, маленький совсем — и месяца наверное нет — на крепких ножках, с обрубленным хвостом и обрезанными ушами) и подбежал к моим ногам. Жалобно взвизгнул и, поскуливая, принялся лизать мои старые берцы. Я оторопел. Замер и не знал, что делать. Потом вытащил замерзший окорок из пакета и бросил ему. Он с жадностью принялся грызть его.

Мы вышли в подъезд. Я закурил залежавшуюся в кармане измятую беломорину. Потом услышал скулеж.

— Стой, — окликнул я спускающегося Юру, — я сейчас...

— Ну и чем ты его собрался кормить? Нам самим жрать нечего...— укоряюще произнес Юра, помешивая тушенку на горячей сковороде. Окрока мы обменяли на вонючую самогонку.

— Найдем чем,— ответил я, потрепывая Валеру за холку. Я решил назвать его так. Маленький медвежонок, любвеобильный и прожорливый, теперь он жил с нами — двумя полубичами-алкоголиками, раздавленными жизнью субъектами.

— Слушай,— серьезно начал Юра,— это алабай. Его нельзя вырастить просто так. Это не дворняжка. Когда он станет большим, то сожрет и тебя, и меня. Это опасное животное.

Я поднял Валеру и посмотрел в его добрые карие глаза. До чего ж хороший и потешный! Я засмеялся и прижал его к себе. А за окном падал первый снег. Или второй. А может быть, и третий. Точно не знаю. Но было еще не так холодно. Мерзкая зима только начинала просыпаться. Когда вся эта канитель началась, была такая же погода и, помню, шел первый снег. Точно первый. Падал и таял на щеках. Я вышел из здания «Станции переливания крови», сжимая в руке результаты анализов. Посмотрел в небо и сказал самому себе: «Скажи еще спасибо, что не ВИЧ». Гепатит С. Я читал, что большинство людей, когда они узнают о наличии у себя вируса, переживает сильный стресс. А мне было абсолютно похуй. Жена устроила скандал. Все не верила, что я не половым путем его подхватил, при том, что половым путем он практически не передается. А я ей не изменял! Я от иглы чужой заразился! В ту пору я немного баловался. Она так и не узнала, я не смог признаться. Но истинная причина не в этом. Она уже давно поебывалась со своей первой любовью, когда я уезжал на вахту. Я это узнал. Добрые люди рассказали. Подумывал даже убить обоих. Или хотя бы ее. Старая СВД была надежно припрятана в моем гараже. В армии я был лучшим стрелком. Но потом, после длительных размышлений решил: «Не давал этой бляди жизнь — не мне и забирать. Пускай идет с миром». Только ушла не она. Ушел я. Сын растет. Скоро в школу пойдет. Квартира однокомнатная. Там делить нечего.



Под ногами хрустнуло стекло. Я наступил на лампочку. Какой-то мудака положил ее на входе в подъезд. Света не было. Я наощупь, трясушимися руками снял домофон. Положил в старый потрепанный походный рюкзак и пошел в следующий подъезд... Юра работал в доме напротив. Потом мы вывалили два рюкзака за гаражами. Разбили все это дело молотками. Вытащили медь. Сдали в пункт приема. Получили пятьсот двадцать рублей. Не прибыльное это дело — бомбить домовфоны. И опасное. Можно запросто пизды получить, если ктонибудь из жильцов поймает. А можно и того хуже — схлопотать срок. Неоправданно, но выбора у нас нет. Мы купили литр самогонки. Буханку хлеба. Три пачки балканской и две соленые селедки на закуску. И еще я взял пакетик корма для собак.

Валера разразился звонким скулением, перешедшим в громкий щенячий лай. Он был в восторге от нашего возвращения. Его обрубок вертелся со скоростью вентилятора. Я бросил рюкзак и взял его на руки. Он весь извивался и лизал мне лицо своим шершавым языком.

— Фу, бля! Ебанный ссач! Все обоссал! Абсолютно все! И насрал! — закричал Юра, пройдя на кухню. Валера и правда постарался. Ему не впервой. Но я не ругал его. И даже не был зол. Абсолютно. Все-таки нас не было целый день. Я бы тоже не выдержал.

Я вытер ссанину и убрал дерьмо. Покормил Валеру. Юра уже успел опрокинуть стакан бормотухи. Лихо у него это получается. Одним махом полбутылки. Я так не могу. Даже рюмку за раз всю тяжело. В три захода пью. И водой запиваю. Юра не запивает. Я разделал селедку. Пить не особенно хотелось. Я бы лучше курнул. Но не было. И поэтому я все-таки ебнул рюмочку. Закусил. Посмотрел на спящего у моих ног сытого Валерку. Закурил. По радио сквозь шипение говорили о приближающемся конце света. Но мой-то давно уже наступил, и поэтому я не беспокоился. Впрочем, это у них привычка такая — каждый год пугать народ концом света. И каждый год ничего не происходит. Ну, во всяком случае, многие продолжают жить, как и всегда. Никто не умирает. Ничего не случается. Мир остается прежним. Обманщики. Подонки. Лжецы. Пиздоболы.

Уже стемнело. Пять часов вечера. Той зимой там наверху что-то намудрили со временем, и темнеть стало ненормально рано. Кухню освещал огарок свечки. Свет давно отключили за неуплату. Юра отрешенно смотрел в окно. Опынял он уже порядком.

— С-сука! — вдруг выплюнул он, ударив кулаком по столу. — Завалю, падлы!

Я посмотрел в окно. У подъезда стояла большая красная иномарка. Я не разбираюсь в марках. Мне это не нужно. Для меня машина — она и есть машина. И ничего более. Солидный мужчина лет тридцати пяти — сорока и юная девушка как-то странно обнимались. Странно, потому что было непонятно, то ли он ей папа, то ли ебарь. Наверное, папик-ебарь. А она для него то ли рай, то ли подстилка, а скорее, райская подстилка. Девушка уворачивалась от поцелуев в рот, и он попадал ей то в лоб, то в щеку... но не в губы. Видимо, ротик она берегла для чего-то более серьезного и основательного.

— Завалю, твари! — прошипел Юра сквозь зубы и снова ударил по столу, так что граненый стакан, наполовину наполненный самогомом, перевернулся и мутная едкая жидкость потекла со стола на пол. Резко поднялся и направился к выходу. Я схватил его и усадил обратно.

— Тихо-тихо, друг, обожди чуток. Мы, кажется, не все сдали...

Тут главное отвлечь внимание и оттянуть время.

Юру я знаю очень давно, практически с самого детства. Мы росли в одном дворе. Он серьезно увлекался боксом, даже был чемпионом республики в полусреднем весе. Ему светила карьера профессионального боксера. Он тренировался каждый день с фанатичной преданностью своему делу. Но потом случилось то, что перевернуло его мозги. И жизнь. Его старшая сестра — известная шалава в районе — была

убита. Ее нашли с пробитым черепом в наркопритоне. Как выяснилось потом, ее очередной жених в порыве ревности, будучи бухим в хлам, случайно пробил ей голову гантелей и бросил подышать, испугавшись ответственности. Очень скоро его поймали. Посадили. Сестру похоронили. А Юра ударился в пожизненный и беспросветный запой. Даже как-то загремел в дурку. Полежал там. Оклемался. Потом его выпустили. И он снова стал пить и сходиться с ума. Квартира в которой мы живем, осталась ему после смерти родителей.

В тот день Юра приволок какую то обоссаную блядь и всю ночь шпиллил ее на кухне. И все повторял, что он дельфин, а она его русалка и они вместе плавают в синей морской пучине. Часам к трем ночи они немного успокоились, и стали в два голоса петь: «Черный вооран... что ж ты выоошься... а над моею головоооой...» А затем она засмеялась стервозным грязным смехом и стала хвастаться тем, что всегда проглатывает и берет до конца, полностью. А потом Юрке надоело все это, он открыл окно и вытолкнул ее, а сам уснул. Валера спал у меня под боком, временами поскуливая во сне. Ему, как и всем нам, снилось что-то страшное.

Утром я, хмурый и невыспавшийся, пошел на работу — побомбить сады в поисках цветного металла. Но сначала я покормил остатками еды Валеру и выгулял его. Девушка, к которой приезжал папик, тоже гуляла с собакой. Черный ньюфаундленд беспрекословно выполнял ее команды: «Лежать!», «Сидеть!», «Стоять!». Красивая властная амазонка. Без папика, с верным добрым псом рядом, она выглядела как-то по-другому... Чище и светлее, что ли. Порядочной она мне показалась. Не вязалась со сложившимся у меня образом подстилку. Мы разговорились о собаках, хотя я в этом ничего не смыслю. А потом она вдруг изменилась в лице. Стала очень серьезна и спросила меня:

— Мы с вами раньше нигде не встречались? У меня такое чувство, что я вас очень хорошо знала когда-то... Но просто забыла об этом, как забывают со временем сны.

— Возможно, — ответил я, — в какой-то прошлой, несуществующей больше жизни.

— Неужели все так безнадежно?

— Я реалист. Поэтому во мне нет ни капли надежды.

На этом я почувствовал острое желание больше не разговаривать с ней. Извинился. Сказал, что мне нужно идти по делам. Завел Валеру домой, а сам ушел...

Когда я вернулся, дверь в квартиру была открыта. Все перевернуто кверху дном. Юра лежал на кухне со спущенными штанами, перерезанным горлом и отрезанными яйцами. Валера лакал с пола его кровь. Кто-то завалился в хату и убил Юру. Снятые штаны... кастрация... Вчерашняя блядина навела кого-то. Да, наверное, так. Больше было некому. Юра обошелся с ней не по-джентльменски, вытолкнув зимой ночью в окно первого этажа. А она оказалась ведьмой и навлекла на Юру силы зла. И эти силы забрали у Юры его глупую жизнь.

Или ее ревнивый муж узнал о ее похождениях? Бред какой-то. Сон. Небыль. Но оставаться было нельзя. Убийство, скорее всего, повесят на меня. По-другому и быть не может. Я буду первым подозреваемым. Нагружат много чего поверх. Да еще и бутылку шампанского в жопу засунут, как это любит делать полиция в нашей стране.

Я накрыл тело простыней. Взял Валеру и ушел.

Прекрасная девушка с ньюфом стояла у подъезда. Одна. Она была грустна и потерянна. Я сделал вид, что не заметил ее, и прошел мимо. Потом остановился. Почувствовал, как дрожит Валера на моих руках. Повернулся, подошел к ней и отдал щенка.

— Пожалуйста, — сказал я, — позаботьтесь о нем. Я знаю, вы очень хорошая. Он умрет, если вы не поможете ему.

— Хорошо, — ответила она, — я позабочусь.

Я ощущал ту же скорбь и тот же ужас, в которые погрузился, когда мне приснилось, что умерли мои жена и ребенок. Все, кого я любил. И кто является для меня всем миром.

Я стиснул зубы и быстрым шагом, не прощаясь, направился в неизвестно куда.

— Подождите! — крикнула мне девушка.

Я обернулся.

— Как вас зовут? — спросила она

— У меня нет имени, — ответил я и пошел дальше.

## ***Первый снег. Точка невозврата.***

**П**роснулся я от неприятного скрежета. Под соседней койкой мужчина лет тридцати настойчиво скреб пальцами по грязному линолеуму.

— Что ты делаешь? — спросил его я.

— Покакал, закапываю, — объяснил он.

Я поднялся. Протер глаза. Голова кружилась. В теле ощущалась слабость. На мне была старая больничная пижама. Под кроватью лежали истрепанные кожаные шлепки. Не мои конечно же. Тоже больничные. Поэтому я не спешил совать в них ноги. Сосед продолжал закапывать воображаемые экскременты. Тут я вспомнил, как оказался здесь. Накануне я обожрался «Тарена», и мне стало казаться, что по мне ползают огромные тараканы. Я упал на пол и с неистовым криком и остервенением стал сдирать их с себя. Дело было в торговом центре. Поэтому скорая прибыла оперативно. Помимо всего прочего, рядом, по счастливому стечению обстоятельств, оказалась моя бывшая девушка с ее новым ебарем, которым она заменила меня. Он впервые увидел, кто такой трахал его женщину до него. Не знаю, посмеялся он или поплакал. Или и то, и другое сразу. Не мое дело. Но лично мне от всей этой ситуации весело.

— Развяжи меня, брат, — услышал я шепот из-за спины.

Я обернулся. Человек был привязал к койке «вертолетиком». Это когда крепко связывают по рукам и ногам и еще блокируют грудную клетку. Очень надежно. Самому в таком случае освободиться невозможно. А если тебя к тому же при этом тошнит и тяжело дышать, то вообще жопа.

— А что случилось? — спросил его я.

— Я два миллиона в карты проиграл, — нервно прошептал он, — мне срочно надо в аэропорт. Лететь в Питер. И отдать деньги.

Я развязал его. Надо же помочь человеку, раз такое дело. Карточный долг — это святое. Он выбежал из палаты босиком. Через несколько секунд я услышал крики медсестры:

— Кто его развязал?!.. Санитары!..

Картежника поймали где-то в туалете. Принесли обратно в палату. И привязали, как и было, строго-настрога наказав всем, кто был в палате, не освобождать его. Больше я его не развязывал.

Как ни противно было, я все-таки всунул ноги в больничные шлепки, в которых до меня побывало сотни ног подобных мне бедолаг. Сделал несколько глубоких вдохов. Поднялся и вышел из палаты. Прошел по длинному коридору. Подошел

к посту медсестры.

— Здравствуйте, — обратился я к девушке с неприметным лицом. Ну вот такое лицо, что никаких отличительных черт нет. Увидишь и не запомнишь. Еще раз сто увидишь, и то же самое.

— Я к вам вчера поступил...

— Файзуллин? — опередила она.

— Да.

— Вас с острым психозом привезли.

— Мобильник мне мой отдайте и сигареты.

Она вопросительно посмотрела на меня.

— Да-да, — продолжил я, — мне позвонить надо и курить хочется.

Она вытащила откуда-то из стола мой телефон и пачку сигарет «Винстон». Я взял телефон и курево. Вытащил одну сигарету зубами и положил пачку в карман.

— И зажигалку, — вспомнил я вдруг.

Она отдала мне зажигалку.

— Туалет где?

— Прямо и направо.

— Спасибо.

Я закурил по пути в туалет. В отделении было на удивление пустынно. В сортире тоже никого. Три раздолбанных грязных унитаза. Решетка на окнах. Посередине железное ведро, наполовину наполненное водой с хлоркой. Хабарики уютно теснят друг друга в серой жиже. Неприятный запах из смеси хлорки, мочи и табака. Он знаком мне.

Я докурил сигарету. Выбросил окурочок в ведро и закурил новую. Достал телефон и стал смотреть последние вызовы. Настя. За ней шел Паша Калина.

Я нажал на «Настю». Ответил сладкий женский голос.

— Привет, моя фридоочка.

Настя — художница-бисексуалка. Она обижается, когда я называю ее лесбученком. А вот по поводу фриды ничего против не имеет. Видимо, это вызывает в ней некую гордость. Ее странные сюрреалистические картины очень нравятся мне. Она хороший художник, возможно, даже гениальный. Впрочем, в этом я мало что понимаю. Помимо всего этого, она высокая, с отличными формами натуральная блондинка с безумным взглядом зеленых глаз и отличными мозгами. В общем — очень красивая женщина. А уж в этом я кое-что смыслю.

— Привет, — ответила она, — ты помнишь, что с тобой произошло?

— Да, но туманно. А ты откуда знаешь?..

— Я с тобой была.

— Я тебя не помню...

— Ладно. Ты на втором этаже?

Я посмотрел в окно.

— Да.

— Я через полчаса приеду.

Телефон отключился. Я выкурил третью сигарету. Постоял пару минут. По-

смотрел в окно. На улице шел первый снег. В конце декабря. Все в нашем мире приходит с запозданием. Раньше первый снег вызывал во мне что-то такое, чего нельзя было передать словами. Теперь же я ничего не чувствовал. Снегирек сел на карниз. Покрутил своей маленькой головкой. Посмотрел на меня и улетел. Вот бы и мне так — вспорхнуть и улететь подальше от сюда.

Настя приехала через час. Я встретил ее в комнате для посетителей. Грубо схватил за волосы и сочно поцеловал в губы взасос.

— Ух ты! Ты никогда раньше так не делал, — улыбнулась она.

— Я вообще ни одну женщину не целовал, кроме своей бывшей и мамы.

— Значит, я первая? — кокетливо спросила Настя.

— Да, мы же в дурдоме, а здесь можно все, — ответил я, равнодушно улыбнувшись уголком губ.

Мы сели на кушетку. Она обняла меня.

— Как себя чувствуешь?

— Плохо. Хочу вылизать тебе.

— Рома, перестань. Здесь же люди...

Кто-то, сидевший недалеко от нас, хихикнул. Но мне было наплевать.

— Хочу напиться и вылизать тебя.

— Ты же не пьешь, — сказала она, по-прежнему прижимаясь ко мне. А я прижимался к ней. И наши лица смотрели за спину друг другу.

Я и вправду не пил. Год назад, после очередной недельной пьянки у меня конкретно поехал шифер. Мне показалось, что все вокруг хотят меня убить. И я выпрыгнул в окно. Спасло меня то, что это был первый этаж, а не девятый, как мне казалось. После я решил закодироваться. Знакомая медсестра из наркологии отозвалась это делать, поскольку я не просто алкоголик, а еще и наркоман. Посоветовала мне обратиться к главному врачу. Дело решилось на том, что я просто сам перестал пить.

— Хорошо, что ты пришла.

Она разомкнула объятия. Обхватила мою голову руками и с нежностью посмотрела мне в глаза:

— Ромка, ты такой хорошенький.

— Ну вот... — только и смог сказать я. Почему-то подобные комплименты не особенно воодушевляют меня.

На Насте было черное короткое облегающее платье. Черные колготки. Сапоги. Поверх был накинута белый халат. Я просунул руку ей между ног, ощутив сладкое приятное тепло.

— Ты ел? — спросила она, убрав мою руку из своего междуножья.

— Нет, — ответил я, — я не могу есть то, что здесь дают. Да здесь, по-моему, еще ничего и не давали.

— Я тебе покушать принесла. Мяско. Салат. Домашний хлеб. Все, как ты любишь.

— Я не хочу.

— А чего ты хочешь?

Я опять полез рукой к ее промежности. Она резко откинула мою руку:

— Перестань!

В дверь позвонили. Медсестра подошла и открыла ее. Вошел крепкий парень лет двадцати пяти — тридцати. Среднего роста, в фуфайке и с косой в руках. Что косил он в декабре месяце? Парень посмотрел на нас из коридора пустыми и грустными глазами, как смотрит побитый жизнью уличный пес. Настя испугалась.

— Не бойся, — успокоил я, — он не буйный. Буйному бы косу не доверили.

— Марат, проходи! Чего встал?.. — крикнула ему медсестра, и он исчез в пустоте дурдомовского отделения.

Мы еще какое то время сидели обнявшись. Настя что-то рассказывала мне о последних событиях своей жизни. О прожитом дне. О предстоящей выставке и новых задумках в творчестве... Я мало ее слушал. Просто наслаждался теплом близости и старался ни о чем не думать.

— Ну ладно, я пойду. Ты устал, наверное?..

Настя посмотрела мне в глаза. Поцеловала в губы и еще крепче обняла.

— Я тебя...

«Люблю» — хотел сказать я, но получилось только: — Хочу.

— Знаю. Я тебя тоже, — улыбнулась Настя. — Звони, если что. И кушай. Завтра я приду в это же время.

Она еще раз крепко обняла меня, поцеловала в щеку и ушла. А я остался один на скамейке для посетителей с пакетом еды в руках. Никого вокруг не было. Все давно уже разошлись. Мне, как маленькому ребенку, хотелось броситься Насте вслед, упасть ей в ноги и разрыдаться. Но вместо этого я достал сигарету и закурил, за что сразу же получил замечание от медсестры.

Я лежал на койке. Привязанный картежник умолял меня развязать его. Тогда я встал, оторвал кусок от его одеяла и засунул ему кляп в рот. Больше он не умолял.



Копальщик, видимо, наконец-то зарыв воображаемые какашки, сладко уснул прямо под койкой. За решеткой окна сыпал крупными хлопьями восхитительно-белый снег. На подоконнике сидел высохший желтый старикашка и в натуральную кушал собственное говно. Есть мне совсем не хотелось. И спать не хотелось. Хотелось бежать, но сил бежать не было.

Часа в четыре вечера я проснулся от вибрации мобильника у себя в штанах. Номер был мне незнаком. Я ответил.

— Здорово! Это Калина! — сказал интеллигентный мужской голос в трубке.

— А это Файзуллин, — ответил я.

Звонил Паша Калина — мой старший товарищ и сосед по дому. И по пьянству в прошлом. И по наркомании в настоящем. О нем я еще поведаю обстоятельно. Но позже и не в этом рассказе.

— Ты где? Я не со своего номера. Телефон где-то оставил...

— Я в дурке.

— Я серьезно.

— Правда в дурке. Я вчера «Тарена» обожрался и мне начало казаться, что по мне лазают большие черные тараканы...

— Ну ты даешь. Ха-ха-ха!..

— Приедь за мной. Меня отсюда не выпускают.

— Ты в какой больнице?

— У нас она одна.

— А, да. Туплю. Сейчас приеду. Минут двадцать подожди.

Через десять минут Паша стоял за окном у такси. Я махнул ему рукой, чтобы он зашел. Я встретил его у входа. Мы поздоровались.

— Я уже здесь заебался, — начал я, — не могу больше.

— Домой? — предложил Паша.

— Да, — ответил я, — но они не отпускают и вещи мои не отдают. Мы прошли в отделение.

— Где врач? — спросил он медсестру.

— Кабинет в конце коридора, — ответила та.

Мы пошли по длинному коридору. Медленно. Быстро Паша идти не может. Он инвалид. У него редкое заболевание — «остеомиелит». Когда-то давно, много лет назад мусора прострелили ему ногу, и с этого все началось. Или не совсем с этого. Не важно. А потом он сидел. Много. И вмазывался маком. Тоже много. И еще произошло много чего. Но это уже, повторюсь, история не данного рассказа.

Мы подошли к двери с надписью «Зав. Отделения Ежов А. Н.»

— Стой здесь, — сказал мне Паша и вошел в кабинет. Минут через пять он вышел.

— Собирайся. Сестра отдаст тебе одежду. Выписка тебе не нужна?

— Конечно.

Мир по ту сторону дурдомовской решетки встретил меня порывом свежего зимнего ветра. Приятные хлопья снега летели мне в лицо. Мы сели в такси. Паша сказал водителю какой-то неизвестный мне адрес. Но я знал, зачем мы туда едем... Машина тронулась. На душе у меня было по прежнему холодно, но к этому холоду прибавилось привычное мне чувство веселья и теплого спокойствия, смешанное с тотальной безысходностью. В общем, предвкушение небольшой сладкой радо-

сти, раз уж ничего другого не остается. У каждого в жизни есть точка невозврата, и свою я давно уже миновал.

Мы ехали через старый город. Ехали медленно. Не спеша. Или мне казалось, что мы едем медленно. Я видел себя в отражении витрины проплывающего магазина. Парень с девушкой обнимались. Они смотрели на свое отражение и смеялись. Глупо и безмятежно радовались сиюминутной романтике и счастью, подаренному им этим миром, видимо, в качестве бонуса за предстоящие страдания и вечную разлуку.

Паша протянул таксисту пятисотрублевую купюру.

— Отсчитай сдачу сам, — сказал тот, протянув ему кучу десятирублевков.

— Нет, братан, я считать не могу, — ответил Паша. — Приедем, сам посчитаешь.

Усыпанные снегом деревья за окном были сказочно, завораживающе хороши. Березы, тополя, пушистые ели... Сказка из далекого детства накрыла проклятый городок.

— Посмотри, как красиво, — сказал мне Паша.

— Да, — улыбнулся я.

Людей на улицах практически не было. Только птицы и изредка собаки. Тихое холодное спокойствие. Бриллиантовая тишина. Все-таки первый снег в опустевшем городе — это всегда прекрасно.

Я закурил и немного согрелся. Мы уже подъезжали.

## Две звезды

22

Время около четырех часов утра. Может быть, полпятого или около того. Предзвездное состояние. Растворяющаяся, но все-таки еще очень красивая Луна на едва проясняющемся небе и только две звезды. Одна меньше, другая больше. Обеих в действительности уже давно нет. Только свет их до меня доносится. И размер, по которому я различаю, что одна меньше другой. И это почему-то делает момент особенно прекрасным и запоминающимся. В руках у меня недопитая бутылка пива. Меня тошнит. Я бросаю ее вверх. Она летит обратно. Разбивается вдребезги, ударяясь об асфальт.

— Ну, — обращаюсь я, глядя в небо, — накажи меня еще, пидор! Что, не получается?..

Пока болтаю с Ничем, не замечаю, как отхожу довольно далеко от киоска, из которого нам вызывают такси. Шурик, мой товарищ, когда ехали, потерял телефон, а я свой еще вчера загнал первому попавшемуся таксисту. Это я умею. Это несложно.

— Куда ты ушел? С кем ты там разговариваешь? — крикнул мне Шурик.

Я вернулся обратно. К киоску. Мы сели на железное ограждение.

— Вызвали, сейчас такси приедет.

— Спасение уже рядом, — равнодушно констатирую я.

— Продавщица, жена хозяина ларька.

— Да, хорошая женщина, — соглашаюсь я, — все остальные отказались вызвать нам такси.

Достаю пачку. Вытаскиваю сигарету. Шурик подносит мне зажигалку. Я закуриваю, но ничего не чувствую.

Спать и не видеть снов, вот это воистину хорошо. Я это понял, так как спать,

не видя снов, не могу уже очень давно. Много лет. И даже просто спать не всегда получается.

Подъезжает такси. Мы садимся в него.

— К ближайшему банкомату, — говорит Шурик водителю, — надо деньги снять.

Машина от Первомайска сквозь мглу едет к Дружке. Останавливается у магазина «Монетка». Шурик выходит из такси. Подходит к банкомату.

— Это конечная? — спрашивает меня таксист.

— Нет, еще в аптеку и обратно потом, — опережая события, отвечаю я.

Опять жизнь. И опять я болею. Не только из-за Тебя. Все в той или иной мере причиняет мне страдание. Хотя, конечно, превалирующий источник боли здесь, если трусливо отбросить меня самого, — это Ты. Я любил Тебя, когда пил и кололся. Любил, когда сходил с ума. Любил, когда умирал. Любил, когда обливал грязью, ненавидел и называл шлюхой. И теперь, прощаясь с тобой навсегда, я тоже Люблю Тебя.

Шурик снимает деньги. Садится обратно в такси. Мы едем в аптеку на Курчатова. Он снова выходит. Покупает две пачки тетралгина. Тропикамид 1%. И два шприца-десятки. Садится в машину. Велит таксисту ехать обратно на Первомайск. Таксист просит заплатить за уже наезженное. Шурик платит за весь путь в сумме, и мы едем обратно. Светает. Я смотрю на пролетающие деревья вдоль дороги. На остановки. Тени. Одиноко стоящие машины. Ни одного человека. Это мне нравится. Сердце болит. Я думаю о Тебе. Ничего конкретного. Просто Ты. Всегда и везде. Я могу плохо о тебе думать. Могу плохо Тебя видеть. В тумане и грязи. В полумраке. В обморочном состоянии. В бреду. Но Ты всегда где-то рядом. Ты во мне неотвратима. Я к этому привык. А правильнее будет сказать — свыкся.

Мы высаживаемся на остановке, не доезжая до дома. Надо сделать еще кое-какие покупки.

— Пиво возьмем? — спрашивает Шурик.

— Конечно, — отвечаю я, — и сигарет. У меня заканчиваются.

Одинокий пес лежит на асфальте. Я подхожу к нему. Он сперва отбегает. Боится. В глазах страх и смирение. Жалкое существо. Жизнь сломала его, но он все еще живет, потому что не знает другого варианта.

— Брат, — говорю ему я, поглаживая и слегка потрепывая за холку. Он все еще опасается, но уже дает к себе прикоснуться.

— Пошли! — кричит мне Шурик.

— Я друга нашел, — говорю ему, показывая взглядом на пса. Шурик улыбается:

— Тут полно таких друзей.

— До свиданья, — шепотом говорю я псу и мы уходим.

На полпути к дому останавливаюсь и как-то особенно тоскливо поднимаю глаза в небо, ничего, собственно, для себя от него уже не ожидая. Луна исчезла. Две звезды растворились. Небо прояснилось, но от этого стало еще тусклее.

— Я ключи забыл, — говорит Шурик уже у подъезда. — Опять придется через окно лезть.

Это старый район. Из одних хрущевок. Край города. Хотя жильцы в этой квартире редко когда появляются, окна в ней летом никогда не бывают закрыты, несмотря на то что первый этаж. Шурик здесь не живет, но он здесь вырос. Его все знают, и никто не решится посягнуть. Дороже обойдется.

Шурик залазит в окно. Я иду в подъезд. Он открывает мне дверь. Ключи лежат на тумбочке.

— Ну вот, — говорю я, глядя на них.

Я начинаю ходить из стороны в сторону и скулить.

— Ты чего, Ромик? — спрашивает Шура.

— Не знаю. Как будто все в теле болит, но и боли как таковой не чувствую.

— Сейчас вмажемся и полегчает, — успокаивает он.

Мы берем рюмки и шприцы. Идем на кухню. Ополаскиваем рюмки, набираем по пять кубов воды в каждый шприц. Возвращаемся в зал. Раскатываем таблетки. Высыпаем в рюмки. Выливаем туда воду из шприцов. Хорошенько разбалтываем. Вытягиваем через ватки. Добавляем по пять кубов тропикамида и вмазываемся. Я нормально, а Шурик начинает бормотать что-то бессвязное. Встает, секунду другую ходит по залу и падает у кровати. Я пытаюсь его поднять, но тщетно — его небольшое, но очень мускулистое и плотное, как свинцовый шарик, тело не поддается моим ослабевшим рукам.

— Ну ладно, — говорю я, — так поспи, Шур.

Он еще секунду другую что-то бормочет и отключается. Я сажусь в кресло. Открываю банку пива. Делаю глоток. Закуриваю и тоже пытаюсь отключиться. Но все напрасно. Я лишь погружаюсь в подобие сна. Темную дремоту — промежуточное состояние между сном и бодрствованием. Там совсем никого. Ты один на один с собственным адом. И скорбь. Особенно ярко это темное и сырое, поразительно плотное по ощущениям чувство скорби. Утраты. Потери. Безысходная необратимость. В таком состоянии я, свесив голову, пребываю несколько часов. Слышу все, что происходит вокруг, хотя вокруг ничего, собственно, не происходит. Час — два — три часа. Пробуждение. Шурик поднимается.

— Ну наконец-то, — говорю ему я. — Сколько можно спать?

— Долго я спал? — спрашивает он.

— Долго, — отвечаю, — а я-то не сплю совсем.

— Толкнул бы меня, — говорит он, — разбудил.

Мы поднимаемся. Убираем шприцы, ватки, окурки. Берем ключи. Выходим на улицу.

Забавное чувство, когда тебе говорят, что ты вот очень скоро уже умрешь, если не перестанешь делать определенные вещи, а ты плюешь на это и все равно продолжаешь их делать, и не умираешь. Как будто упираешься ногами в небо и не даешь ему упасть.

Зубы болят. Вся челюсть. Еще год назад у меня не было таких проблем. Болят ноги и периодически сердце. Но это ерунда, главное, небо пока еще не рухнуло.

Пес у остановки, мой новый друг, стоит с длинным вытянутым лиловым членом. Тяжело дышит. А рядом его подружка.

— Ха-ха, — говорю я Шурику, — смотри.

Он не обращает на это никакого внимания. Мы садимся в маршрутку. Едем через весь город. Выходим у аптеки. Закупаемся. Берем то же самое и еще спирта. И идем уже ко мне домой. Там снова трескаемся и отключаемся. Сил больше нет. Я уже никуда не хочу идти. Хочу лежать и ничего не слышать.

Проходит час — два — три. Вечность. Шурик просыпается. Подходит ко мне и, склонившись, обнимает.

— Ромик, — говорит он удивительно тепло, — сынок.

— Шурик, сынок, — отвечаю ему я, взаимно обнимая. И радуюсь, что вижу его в сознании и добром здравии.

Я поднимаюсь с кровати. Он наливает полстакана разбавленного спирта. Вы-

пивает. Наливает еще и предлагает мне. Я беру стакан. Минуту держу в руках и возвращаю.

— Не могу, не лезет.

— А я выпью, — говорит он и опрокидывает вторые полстакана. Я, ослабевший, снова заваливаюсь на кровать.

— Как думаешь, сколько нам еще осталось? — спрашиваю его я.

— Две недели или двадцать лет, как скажешь... — отвечает он.

— Да, счастливая старость нам обеспечена.

— Да уж, — смеется он.

Потом мы говорим о чем-то многозначительном. О чувстве вины и боли. О страдании и обреченности. О воспоминаниях и книгах, которые хранят их. О похоронах моего отца.

— Ты, наверное, не помнишь меня, когда я еще твоего отца хоронил? Ты еще маленьким тогда был.

— Помню, — отвечаю я, — даже помню, когда ты закапывал могилу.

Я, действительно, все это помню в мельчайших деталях, хоть и прошло одиннадцать лет. Мы еще сидим какое-то время. Говорим о прошлом. Периодически смеемся, хоть и хочется заплакать. Я так и не могу выпить ни капли.

— Пойду, — говорит наконец Шурик. Поднимается. Снова обнимает меня. На прощание.

— Там спирт еще остался, если захочешь, выпьешь, — говорит он, и я закрываю за ним дверь. Возвращаюсь в спальню. Сажусь за стол. Смотрю на неполную полторушку. Открываю окно и выкидываю ее. Затем закуриваю. Смотрю на дым. За окном темнеет. Так заканчивается еще один марафон. Еще один кусок жизни в никуда. Еще один день в парашу.

## *Моя могила — планета Земля*

**О**н зашел ко мне, в то время как я сидел у себя в спальне весь в крови и с распидарашенными венами. Кровью было залито все что можно: кровать, пол, мои джинсы.

— Коли в центряк, — сказал он мне.

— Не могу, — ответил я, — на левой центральной разьебана в хлам, а на правой у меня их от природы нет. То есть они у меня, конечно же, есть (их не может не быть), но настолько неявные, что как будто их и нет.

— Сожми и накачай. Они все равно появятся.

Я так и сделал. Артем попытался вколоть мне десятикубовым шприцем семь кубиков красной жидкости. Тропикамид и тетралгин. Ну и крови моей, конечно же, там уже накачено немеряно. После десятой попытки я не выдержал. Взял у него шприц и ввел себе в синявку, которую я едва видел — все до остатка. В месте введения неприятно зажгло. Надулась большая шишка.

— Вот говно! — выругался я. — Задул...

— Сетку йодную сделай, — сказал Артем.

— Сам знаю.

Я помазался йодом. Сходил в ванную обмыть руки. Взял тряпку. Вернулся

в спальню. Вытер полы. Выкинул тряпку.

— А теперь и побухать можно, — заключил я, закурив сигарету.

Артем не стал возражать, и мы проследовали в зал.

В зале трое мужчин зрелого возраста — Геннадий, Володя и Сергей — распивали аптечный спирт, разбавленный водой один к одному. Из телевизора по каналу «Ля минор» звучал отвратный шансон.

— Наливай, а то уйду! — крикнул я Геннадию. Он самый старший из них и работает по вахтам на севере. Когда приезжает, весь район пьет спирт и самогонку на его деньги. Володя нигде не работает. Сергей работает, где придется. Но чаще всего тоже нигде.

— Да не вопрос, — улыбнулся он желтыми зубами и налил мне стопарик. Я опрокинул и занюхал куском сухого хлеба. Зрение мое по-прежнему оставалось неважным. Глаза, казалось, вот-вот вылезут из орбит. Давление.

Следующим выпил Артем.

— Темнота, блядь, повсюду, — озлобленно проворчал я, усевшись на табуретку.

— Рома, тут светло, — сказал мне Артем, затягиваясь моей сигаретой.

— А, ну значит, мне только кажется...

— Как твоя книга? — спросил меня Геннадий. Володя и Сергей говорили о чем-то личном и не обращали на нас никакого внимания.

— Никак. Не пишется.

— А как твоя девушка?

— Никак. Ебется.

— Повторить? — показал он на банку спирта, видимо, не зная о чем беседовать дальше. Я утвердительно кивнул головой. Быдловатый мужик, поющий шансон в телевизоре, внезапно остановился и крикнул непонятно кому именно из нас:

— Расслабься! Ты не умрешь!...

И продолжил свое тошнотное пение. Я принял это на свой счет, но его предупреждение было излишним. Я давно уже не напрягался по поводу жизни. А уж по поводу смерти тем более.

Геннадий протянул мне рюмку. Я выпил.

Смена ангелов на бесов происходит внезапно и стремительно. Со скоростью света и легкостью даже не песочного замка, а карточного домика рушится твоя Вавилонская башня. Остаются руины. Жалкие обломки, на которых густо произрастают черные цветы вперемешку с вонючей серой плесенью.

— Роман, мне пора, — сказал, едва ворочая языком, Артем. — Жена ждет. Ругаться будет.

— Ну иди, — ответил я.

— Закрой за мной дверь.

Я встал. Проводил Артема до двери. Закрыл. И вернулся в зал. Сергей с Володей по-прежнему говорили о личном. Сергей рассказывал Володе, что когда он был лет на десять моложе, то ебал покойную ныне самогонщицу Галю, отравившуюся своей же продукцией. Сергей сказал, что у него тоже с ней пару раз было, и они засмеялись. Геннадий попросился в туалет. Но на полпути споткнулся, упал ничком и уснул. Мы не стали его поднимать. Я взял дымящийся остаток сигареты из пепельницы и хорошенечко затянулся до самого фильтра, почувствовав химический привкус на языке. Затем налил себе еще и выпил. В штанах завибрировало.

Звонила Алеська. Моя знакомая из соседнего города. Она сказала, что только что приехала и предложила встретиться для всем известного дела. Я посмотрел на свое отражение в зеркале серванта. На меня смотрел обросший и опухший парень с невымытыми сальными локонами волос на голове. Полное чмо. Я прямо сказал Алеське, что не могу с ней сейчас поебаться, потому как пьян и нахожусь в крайне плачевном состоянии. Она не стала возражать и бросила трубку. Меня это устраивало. На самом деле мне и не особо-то хотелось сношаться с ней. То есть хотелось, но не мне, а моему телу. Ну, знаете, как это бывает — когда тело хочет одного, а лично ты совсем другого. И становится крайне мерзко и отвратительно. Уверен — вам это знакомо. Ведь все мы люди. Разве не так?

Я смотрю на фотографии людей. На их лица — чужие и радостные. И мне кажется, что все они против меня. Но я понимаю, что это паранойя. Что в действительности — это не так. Да даже если бы они и были против меня, я все равно был бы не прав, потому что — это я пришел в их мир, а не они в мой. Даже если они подошли ко мне первые. Даже если они в моем доме. Это я в их мире, а не они в моем. Как инопланетный чужак в земной могиле, смеюсь я над тем, что даже смерть меня не принимает. Чего уж говорить о Тебе.

Я говорю какойнибудь женщине: «Я хочу тебя оттрахать». Хотя знаю, что в действительности я не буду этого делать, потому что в действительности не хочу. Я лишь хочу подчеркнуть, выворачивая из себя все самое грязное и низменное, низость человеческой природы. Вызвать у вас отвращение. Показать, что я такое же говно, как и вы. Но с одной значительной разницей: я себя за это распял — а вы себя за это вознесли. И вот я уже в детстве стал догадываться, что наши желания — они не совсем наши, а вернее, совсем не наши.

— Ты пить будешь? — толкнул меня локтем в бок Володя. Сергей к тому времени уже тоже спал. Верхняя часть его тела развалилась на стуле, а нижняя на полу.

— Разумеется, — ответил я и пригубил одну треть рюмки. Спирт уже не так охотно входил в меня. Проглатывался с трудом и вызывал легкие позывы к рвоте. Дым в комнате сгущался. Но я все еще мог отчетливо различать свое отражение в зеркале. Оно, мое отражение, неприятно смеялось и хохотало, хотя я был абсолютно спокоен.

— Ну, ты, как всегда, цедишь в три глотка одну рюмку, — заметил Володя и опрокинул полную. Мое отражение стало строить мне гримасы и хохотать еще пуще и отвратительнее.

— А-а-а! — вскрикнул я от резкого болевого толчка в груди и открыл глаза. Сергей и Геннадий по-прежнему пребывали в состоянии покоя. Володя курил, не спеша наливал и пил в одиночку.

— Что с тобой? — спросил он.

— Ничего, — ответил я, — вам пора.

— Ага, — согласился он, — хорошо.

— И эти тела с собой забирай, — проворчал я ему, указывая на Сергея и Геннадия, который к этому времени уже начал подавать слабые признаки жизни в виде мычания и, кажется, обоссался.

В восемь утра меня разбудил телефонный звонок. Я кое-как разомкнул слипшиеся веки. Глаза щипало и предметы расплывались. Звонил Юра.

— Алло.

— Привет, Рома. Собирайся, через полчаса я заеду. Поедем копать могилку.

— Ага, хорошо, — пробормотал я.

— Ты, что, опять бухаешь?

— Да.

- Копать-то сможешь?
- Смогу.
- Точно сможешь?
- Ну говорю же — смогу!
- Хорошо. Я заеду.

Ох, как говно в голове кипит... Ох, как ясно видны мечты, поросшие вонючим мхом несбывшегося прогнившего ожидания. Но все-таки пока еще живые и весьма осязаемые жадной памятью.

Планета Земля — большая и глубокая могила для всех, кто хочет чего-то большего, чем просто биологическое существование. И могилу эту приходится рыть постоянно. Потому что другой работы нет. И не может быть.

Я потянулся за банкой с водой на столе. Жадно глотнул. Там оказался спирт. Меня вывернуло прямо на ковер кислой желтой рвотой. Потом еще раз. И еще раз. На этом содержимое моего нутра иссякло. Я утерся рукавом. Закурил и отдышался. Затем, не без труда поднявшись, ощущая тяжесть и боль во всем теле, я маленькими шагами дряблого старика побрел в ванну. В ванной я первым делом хорошенечко присосался к крану и поссал серой мочой. Затем несколько раз плеснул себе в морду холодной воды. Утерся полотенцем. Ну и рожа... Уверен, при рождении я выглядел гораздо лучше. И чувствовал себя тоже.

Оставалось еще десять минут. Я допил остатки спирта. Закурил сигарету. Накинул куртку, натянул старые берцы и пошел на работу — рыть могилу.





Родился в 1985 году в городе Минусинске Красноярского края, с 2009-го года живет в Санкт-Петербурге. В 1998 году стал лауреатом всероссийского конкурса «Мы — лицеисты». В 2000 году получил стипендию им. В. П. Астафьева, вошел в лонг-лист Астафьевской премии 2009 года. Финалист всемирного поэтического фестиваля-конкурса «Эмигрантская лира — 2010», лонг-листер премии «ЛитератураРРентген» и шорт-лист премии «П» 2010 года.

Публиковался в журналах «Абакан литературный», «День и Ночь», «Зинзивер», «Литературной газете», альманахе «Илья»; в сборниках «Антология молодых авторов Хакасии» (Абакан), «Эмигрантская лира 2010» (Брюссель); «Антология премии ЛитератураРРентген» (2012, Нью-Йорк).

## Дмитрий Шабанов

*Dmitri Shabanov*

\*\*\*

**М**иша едет на травобусе,  
Саша едет на бухарусе,  
Только я один,  
как немощный,  
На пешкарусе бреду;  
Где найти на грешном глобусе  
Артефакт освобождающий,  
Чтоб на самом верхнем ярусе  
Дали место мне в аду?  
Чтобы только травы росные,  
Чтобы только водка пряная,  
Чтобы только девы статные  
без сомненья и стыда;  
И ни в коем разе, господи,  
Ни бояться не заставили,  
Ни работать не заставили,  
Ни покуда, никогда.

\*\*\*

**Г**олимое уныние мое,  
Оставь меня, я буду нынче весел,  
Пускай я сяду меж смеженных  
кресел  
И упаду на войлочный ковер,  
И буду вслух смеяться над собой,  
До жара в голове и хрипа в легких.  
Какие у тебя еще упреки?  
Вагон СВ? Гостиница «Савой»?  
Какого, черт возьми, еще добра  
Тебе желать, когда судьба Ясона,  
И лебеди летят над нашей зоной,  
И мысли из сплошного серебра.

## Надпись под книгой

*Мне всегда казалось, что там должна быть надпись...*

**Л**юбовь протяжна, словно звуки в имени,  
Которое кричат. Не бойся, выменяй  
на хрипоту у воздуха волну.

Так сытен бред, так к вечеру не можется,  
Что вместо рожи — железнодорожица,  
И вместо сердца — пепельный манул.

За облаками века светло-серными,  
Куда все детство вывезли цистернами,  
Я покачу на рохле свой паллет  
С воспоминаньем времени ледового:  
В столовой ложке мальчик плавит олово  
И отливает лебедя в земле.  
Да не дойти — я тихой сапой выстрадан,  
Мне каждый день — очередная пристрада,  
Но ни какие пропасти во сне  
Не испугают шириною пила:  
Мне наплевать, кого она любила,  
Приятно находиться рядом с ней.

Гречишный мальчик, бронзовый и паперный,  
Давно поживший с мамино и папино,  
Я потревожил Кракена в пруду:  
За каждым рвом языкового бруствера  
Его шлею у самой шеи чувствую  
На двадцать недоеденном году.

О, наши черти, мы ли не поможем им!

Растает тело, как брикет с мороже..., но  
пока он крепок — внутренний прокал,  
Скрежещет мысль истертым коленвалом:  
Мне все равно, кому она давала,  
Я в очередь не жажду номерка.

Зубная муза, острая зазубрина,  
Мелькает в каждом лике, мной излюбленном.  
В передовые полосы страны  
Влетают клинья оловянных праздников,  
Пустое место превращая в классику...

Укрой меня слогами белизны,  
Витая надпись, созданная накипью  
В молении любви, дремучем, аки пню;  
И ты, читатель, хрупкий, как акрил,  
Весомым томом сотворенья памяти,  
Покрытым толстым слоем желчной комеди  
Накрой меня – и больше не смотри.

## **Белые пятна**

А.Б.

**Я** хочу повидать шмурдячного человека,  
Прочитать ему что-нибудь из моих the роем,  
Чуждых мне самому, как пирату чужда шебека,  
Как запойному — водка, когда он плывет в запое.

Он расставит стаканы, будто засеет поле,  
Он взрастит в них жидкости вражью силу,  
Он мне скажет: что ж, выпьем за все, что было,  
И забудем все, что не будет боле...

Ты кропал эту дурь, смущая заумью землю,  
Мы горели — и кончились, вот два стакана, камень  
Преткновения, вместительностью ноль семь и  
Это все, что за муки дадено нам богами.

Вот за это и выпьем...

Сказано — надо сделать.

Я перечить не стану, не буду насосом долгим  
Перекачивать воду о цели, мечте, о толке  
Из пустого в пустое, от тела к телу.

Лишь наутро, когда я раскроюсь раньше,  
По потребности выйду на двор поссать и  
Похмелиться купить, я залажу: встань же,  
Не остави себя, если ты писатель,

Не оставь, если ты обладатель мела  
Судьбы, если видишь глазами мира,  
Не оставь, если мать тебя вскормила  
Перекачивать яды от тела к телу.

Так я буду твердить, а на пути обратном  
Я внезапно вспомню, что спирт был разбит и пролит,  
Что везде, повсюду остались слепые пятна,  
На рубахе червеют, как пежина от моли.

Я иду прожженный, забрызганный кислотой,  
Словно бился всю ночь с каким ядовитым змеем...  
Вот пята Сократа, и то, что теперь сумеем:  
Перекачивать в порожнее разлитое...

## Версия конца

**А** на днях эти чудики прикатали коня к воротам.  
Во охрана бежала — только сверкали латы.  
Даже я напугался, когда через крен восхода  
Эта морда плыла со стороны Эллады.  
Нет, стоит, не шерохнется, не изрыгает пламень,  
Не плюется камнями, в стену не бьет копытом.  
Видно, греки совсем скукожились, керамику  
Хоть бы лепили, а тут на — сколотили это.

Говорят, что в подарок. Вскорости восвояси  
Войско двинется. Сворачивают становище.  
Целый день жрец в волокнистой рясе  
На алтарь слагает остатки скота и пицци,  
Восхваляет богов, что избавили нас от ножа и плена.  
Чистоту навели по центру: благовонно даже в сортире...  
И далась нам эта красавица их, Елена.  
Отпустили бы девку с кулечком на все четыре,  
Раз такое дело. А то возвели ладони:  
На богов понадеемся да на часовых — дозорных.

Только я не пойму: раз уж сошлось все, на кой нам конь их?  
Окропить бы смолой да сжечь. Нет, ввозят в город.  
Ну, пускай балуются...

Как стемнело,  
Я откупорил финикийский херес  
На остывшем балконе, чтобы забыть об Элла...  
Чтобы забыть, как военные песни пелись,  
Чтобы встретить огонь в очаге, а охрану — спящей,  
Чтобы копые до утра заросло ажурной  
Паутиной в углу, чтобы захлопнуть ящик,  
Где доспехи,  
Только кот соскочил с колен и понесся куда-то сдуру.  
Я подумал: за мышкой, и все-таки вышел в темень.  
Долго ходил по двору, у амбара кликал:  
Нету хвостатого. Что овладело зверем?  
Что он услышал в этой ночи безликой?

Пить расхотелось. Рука посильней вдавила  
В горлышко пробку.  
В пятый раз где-то бренчит железо.  
В близкой листве мерещится что-то, будто стоит сивилла.  
И верх живота к чему-то побаливает, как от пореза...



### *Эскиз № 8 (проточный)*

**Е**сли дождь сорок дней — все блуждающий ливер...  
Эпохальное — трудно, не великое — зря...  
Что тещерится в этом безумном приливе?  
Это точно твое, это ты потерял.  
Не заметишь лица проплывающий остров,  
Не успеешь судьбе надавить на кадык...  
Видишь, лучшее в мире сыскное устройство —  
Это камень и круг, это память воды.  
Ты читаешь поток — это кайф, это порно,  
Эти смуглые тучи тебя убедят  
Изобилием поз, только тот, кто запомнил,  
Вправе мыслить себя предикатом дождя.  
Но в промокшем тряпье проржавеет оружие,  
Ты идешь по воде — как портье, как партнер,  
Ты идешь человек — вертикальная лужа,  
И на сто, и на сто состоишь из нее.  
И за красной строкой ты выходишь на схолию.  
Пояснения к жизни как мрамор, засим,  
Только топот и вдох, только скол, только колер...  
Маякнул самолет, пролетел серафим.

## Пасха

**В**се просто, все так незаезжено просто:  
Короста блуждает по телу, как остров,  
Как ведьмина родинка — средство и сходство,  
Религия зла во плоти;  
Не дело чуждаться телесного свойства,  
Служение — шорох, одно беспокойство,  
И так ли уж важно, какого ты войска,  
Когда все равно ты один...

Все лихо, все так неминуемо дико:  
Сознание бродит нелепым аддиктом  
По полю вины, как по съемной квартирке,  
Чужих не касаясь вещей;  
Одно богоборчество вертится в думе,  
Но мир не срастется в наиве, в зауми,  
И вряд ли он есть вообще...

Рейсфедер нацелив на ту, и на эту  
Корявые мысли, ты ставишь рейсфедер  
На плоскость истории дня,  
И водишь, две точки соединяя,  
От ада до рая, от ада до рая,  
Одной стороны не приняв.

Грехи твои плоски, и выбор двумерен,  
Но точка — валун у голгофской пещеры,  
На ней паутинка креста,  
Ни силой души, ни уменьем научным  
Ее не подвинуть никак,  
Потому что  
За точкой  
Одна пустота.

## Начало

**Я** былое разгладил, не виснут думы  
На висках, словно вечный порок еврея.  
На воротах стражник не ищет суммы  
С темнотой и рук в рукавах не греет.

Что прислуживать — вор не бежит с опаской  
Моих взглядов, служенье воняет псиной;  
Никого собор не спасает Спасский,  
Опахалом прикрывшийся страусиным.

Вот он, город, ну что же, ну город — всякий;  
Кто-то ищет в нем святость и дым кадильный...  
Я беру привезенный с работы ракель  
И акации клею на холодильник,

И становится чуть посерее в доме.  
Не могу припадать на одно колено,  
А на два — не хочу.

Что корона кроне  
обещала?

Служение пахнет пленом!

И поэтому мне серебра и злата  
На деревьях только, и рыбка — сошкой,  
И больничная койка — ума палата,  
И будильник на пуфике — мерной ложкой.



Вырос на Украине. Закончил Кировоградский пединститут по специальности учитель русского языка и литературы. Литературное творчество начал со стихов, которые публиковались в студенческой многотиражке. Был преподавателем педучилища, потом завучем и директором школ в Кременчуге. Первая проза появилась в газетах «Вісник Кременчука», «Автограф», литературном журнале «Танграм». В 1996 году стал членом Кременчугского литобъединения «Славутич». В 2000 году переехал в Финляндию. С 2001 года член Объединения русскоязычных литераторов Финляндии. Публиковался в газете «Спектр», в литературных журналах «Молодая гвардия», «Москва», «Дети Ра».

Автор повести-сказки «Волшебный ларец, или Путешествие в сказку» (2007, с рисунками автора), прозаического сборника «Фантом журавлика» (2011) историко-публицистической книги «Три семьи. Хроника жизни матерей» (2015).

Когда я вышел на освещенную солнцем улицу, справа, и правда, виднелся «заборик» — длинная крашеная труба с подпорками из кусков такой же трубы. На этом заборике сидел Роберт Иванович. У ног лежал неизменный рюкзачок.

## Леонид Корниенко

Leonid Kornienko

### Скотч

В каком народе живешь,  
того и обычая держись.  
Армянская поговорка.

**Х**очу поведать историю одной моей поездки в Хельсинки к поэту Роберту Ивановичу Винонену.

Это было летом, в июне месяце. Жена уехала в отпуск первой. Я задержался по работе на неделю. Но занятыми оказались только три дня, остальные получились выходными. Ну не сдавать же билет и покупать новый?

Мой разговор с Робертом Ивановичем был коротким. На мой вопрос, как мне быть, сидеть дома или ехать к нему, Роберт Иванович про бурчал в трубку:

— Мы не курицы, сколько ни сиди, ничего не высидим. А у меня «Журавлик» киснет...

— Какой журавлик?

— Мне бутылочку такой водки из России привезли в презент. Разопьем, поговорим. Жду! — и отключил телефон.

Приехал я на автобусную станцию в Хельсинки в полдень. Куда мне ехать дальше, мы с Робертом Ивановичем обсудили так же коротко.

— Приехал уже? Жду тебя на станции метро Контула через полчаса. Иди на выход по ходу поезда. Справа, у заборика, я тебя буду ждать.

Улыбаясь в усы, он протянул мне навстречу широкую ладонь.

— Ну, привет! Как добрался? Тут дело такое. Должен сосед, ну скорее не сосед, а знакомый финн подойти. Подождем?

Я пожал плечами, мол, какие проблемы?

Минутка растянулась на целых десять. Роберт Иванович помалкивал и все поглядывал в сторону магазинов напротив входа в метро. Я же развлекал его рассказом о своей поездке сюда. Наконец Роберт Ивановичем повеселел и объявил:

— Ну все, идет уже! — и поднял с земли свой рюкзачок.

К нам подошел высокий, длинноногий и длиннорукий мужик, одетый в замшевую куртку, несмотря на жару. На голове красовалась спортивная кепочка, через левое плечо висела маленькая кожаная сумочка.

Роберт Иванович представил нас друг другу. Финна звали Теко. Я назвал свое имя.

— Ну что, пошли? А то мы уже заждались, — и перевел сказанное финну.

Тот заухмылялся, развел руками, мол, виноват, и первым зашагал впереди нас. Мы прошли под мостом и углубились в сквер. По ходу перекидывались незначущими фразами о погоде, о моем приезде. В паузе между фразами Роберт Иванович обронил:

— Ты не против присесть и винцу за встречу порадоваться? У меня с собой есть.

— Так и у меня с собой есть! Правда — водочка!

— Да? Это — хо-ро-шо! — сложил губы в трубочку Роберт Иванович. — Но для водки закуска нужна. Она дома нас ждет. Для вина — не обязательно. Вот только у меня штопора нет. Вот ведь какая беда! У тебя не завалился случайно?

Я не успел ничего ответить, как Теко, который очень заинтересованно прислушивался к нам, вдруг весь засиял улыбкой, расстегнул куртку и гостеприимно распахнул полы. Из внутренних карманов выглядывали горлышки плоских пластмассовых бутылочек с какими-то ликерами. Роберт Иванович пошевелил усами и качнул головой:

— Ну, жук!

— Что? Всегда так заряжен? — спросил я.

— Ну сам же видишь! Потому и ждали. Очередь была, наверное.

Теко уже отвинчивал пробку, и, как щедрый хозяин, доставал из кармана куртки горсть леденцовых конфеток в обертке.

— Прямо как у славян — на троих соображаем! — сказал я.

— Ну, это международное! — покачал головой Роберт Иванович. — Один — это алкоголь. Двое — это пьянка. А на троих — это собрание единомышленников!

Ликер оказался несусветно гнусного вкуса, приторный и маслянистый. Теко хвалил его на все лады, утверждал, что пьет только ликеры и они намного лучше пива. На мое замечание, что вообще-то у финнов традиция пить пиво, а не ликеры, тот скривился и коротко отрубил:

— Паска! — мол, дерьмо!

— Это он о финнах или о пиве? — тихонько спросил я у Роберта Ивановича.

— Не знаю. Теко не любит, когда молодежь пьет пиво.

— А чего?

— Проблемы с сыном, кажется, были на этой почве! — пошевелил усами Роберт Иванович.

— А где сын сейчас?

— В Швеции.

— Странно как-то...

Но Роберт Иванович разъяснять ничего не стал. Мы дошли до своеобразного перекрестка в сквере. Собой он представлял большой круг, покрытый стриженной травой, с парой ветвистых молодых платанов в середине. От этого круга в разные стороны расходилось несколько дорожек. Место было настолько живописным, что для желающих полюбоваться этим видом было поставлено несколько скамеек и урны.

Первая бутылка была уже пуста. Теко по ходу торжественно опустил ее в ближайшую урну и тут же извлек полную. Гостеприимный жест в сторону скамеек был красноречивее всяких слов. Мы подошли ближе к одной из скамеек и увидели, что она вся опутана... серым скотчем.

Скотч был хороший, крепкий, из дорогих. Ножики, спинка, сиденья — все было в хитроумных жгутах. Какая-то компания так забавлялась, накачиваясь пивом. Несколько банок дешевого, грубовато-простецкого финского пива «Pirkka» и две банки мягкого изысканного датского пива «Tuborg» валялись у одной из ножек скамейки.

Теко, глянув на это безобразие, злобно ругнулся и сунул бутылку в карман обратно. Следом подобрал банки и швырнул их в урну. А потом с остервенением принялся срывать со скамейки скотч.

— Зачем ему это? — спросил я с удивлением Роберта Ивановича.

— Непорядок! — пошевелил он усами и добавил. — Менталитет. И сам принялся помогать финну. Видя, что я медлю, с укором обронил:

— Неудобно как-то.

Я устыдился и присоединился к ним. Наконец весь скотч был содран со скамейки, смят и выброшен в урну с банками. Теко еще раз внимательно осмотрел скамейку, зачем-то постучал по ней мосластым кулаком. Потом обернулся к нам и качнул головой, мол, теперь порядок, но кому же все-таки эту гадость над было делать? Мы только пожали плечами. Теко зашагал в сторону одной из дорожек. Мы пошли за ним.

— Смотри, как Теко расстроился. Даже про ликер забыл. Ну да и ладно. Ликер сладкий. Даже горло слиплось. Жуть какая-то!

Дома у Роберта Ивановича, за столом, мы вернулись к случаю со скотчем.

— Вот не пойму все-таки, почему же Теко с таким остервенением принялся срывать скотч?

— Финляндия — его дом. А в доме всегда должен быть порядок. А тут

какие-то человеки безобразие устроили. Представляешь, что бы он им устроил, если бы застал за этим безобразием?

Роберт Иванович вдруг поднялся из-за стола, ушел в комнату и вернулся с книжкой в руке.

— Вот, кстати! Мы же добровольно помогли финну освободить скамейку от скотча? Так? Не хмыкай! Добровольно! Значит, мы люди, а не какие-то человеки. Вот послухай виршок мой из «Рубаи от Ибрагима»:

Гостил один посланец чуди —  
Он плов, дымящийся на блюде,  
По нашему примеру брал  
Руками. Финны тоже люди.

— Смекаешь?

Я кивнул головой.

— Ну тогда бери на память книжицу. Может, еще себе найдешь стишков для души.

Я ехал домой, глядя в окно на ночное светло-серое летнее небо. В памяти прокручивалась сценка со скотчем в сквере. Что ж, правильно, где начал проживать, там не надо «козловать». Гм! Вот словечко придумалось. Неправильное по форме, но верное по сути. Я перевел взгляд на сидение. Рядом со мной лежала подаренная Робертом Ивановичем книжка стихов с красноречивым названием «Оглядка».





Член Союза писателей России, действительный член Финно-угорской Академии наук, экс-президент Ассоциации финно-угорских писателей России, доцент. Родился в Ленинградской области. Окончил Литературный институт им. А. М. Горького и аспирантуру при нем. Работал в московских издательствах, заведовал кафедрой литературного перевода Литинститута. Автор множества поэтических книг, сборников переводов и литературно-критических статей. Почетный председатель Объединения русскоязычных литераторов Финляндии.

## Роберт Винонен

Robert Vinonen

### Слов взметенные листья...

Я уже когда-то писал, что стихи Роберта Ивановича Винонена лучше читать, уединившись с книжкой, читать не торопясь, пропуская слова через свое сердце и иногда сравнивая прочитанное со своей жизнью. Перефразируя заголовок сборника, выпущенного поэтом в 2007 году, хочу сказать, что произведения Роберта Ивановича, как взметенные листья, осеняют читателя такой глубиной и правдой жизни. что порой оторопь берет. Как мудр и прост поэт! И спустя время снова берешь и перечитываешь эти короткие, но такие весомые строки.

Почувствуйте это сами. Прочтите стихи поэта-мастера!

С уважением, Леонид Корниенко.

### Тающее предложение

**М**ы тоже когда-то были молодыми, красивыми.  
Мы тоже когда-то были молодыми...  
Мы тоже когда-то были...  
Мы тоже когда-то...  
Мы тоже...  
Мы...

...

..

.

\*\*\*

**П**осмотришь на русского острым глазком...  
Он острым глазком — на тебя...  
И все ясно.  
Понятно.  
Зачем же еще языком

Молоть?

Вот чего никогда — с иностранцем.  
(На улице.)

## Осенние игры

**В**ы прикинулись ивой,  
А я — ветром;  
Зеленые все подолы  
Узнал с изнанки.  
И краска ударила Вам в листья!

Только напрасно меня стыдите:  
Ветер ведь не умеет  
Краснеть.

\*\*\*

**Ч**истый лист неизменно глубок  
И незримые знаки таит он:  
Тронь пером — и проявится Бог  
В ненароком разбуженных ритмах.

Черновик — это образ греха.  
Вот и мямлишь, как в исповедальне:  
Что уже написал — чепуха;  
Что еще не сумел — гениально.

\*\*\*

**В** начале было Слово,  
Потом пришел поэт.  
Во множестве стихов он  
Сказал, что Бога нет.

Чего-то поумнее  
Он выдумать не мог,  
Того не разумея,  
Что Слово было Бог.

2002

\*\*\*

**Л**ишь в итоге мы понимаем:  
Жизнь была и помимо книг  
Поучением, где ты самый  
Невнимательный ученик.

2007

\*\*\*

**Б**ывал горяч, но стал я старше  
И, как дела не хороши,  
Душа озябла...  
Страшно, страшно,  
Когда придет озноб души!

## Шаги познания

**П**рошли километр? Прекрасно!  
Минут за пятнадцать? Да.  
Связь времени и пространство  
Доказана, господа!

Привалом пора, пожалуй,  
Сей важный отметить факт...  
Но что это? Мы — ни шагу,  
А часики-то: тик-так!

2003

\*\*\*

**К**огда вконец устанем  
От мыслей и работ,  
Мы так же перестанем,  
Как дождь перестает:

Подробно в землю вникнем  
Везде, везде, везде...  
И радугой возникнем  
На память о дожде.

2013

\*\*\*

**Я** в сыновьях опоры не нашел,  
Но вижу в этом собственный прокол.  
Я сам и стал причиной печали.  
О Боже правый, участи моей  
Не повтори, но дай им дочерей.  
Меня-то вечно бабы выручали.

2012

## Общество инвалидов

**У**видимся, — сказал слепой.  
Глухой ответил: созвонимся.  
Жестикулируя, немой  
К беседе присоединился.

Бегом безногий подлетел,  
Безрукий хватя его по роже!  
Не может быть?  
А между тем  
На мир теперешний похоже.

2010



*Живет в Хельсинки с 1992 года. Член Объединения русскоязычных литераторов Финляндии с 2000 года. Автор поэтического сборника «Я — везде, я — нигде», сборника стихов и рассказов «Лабиринт» (2014). Публикации: журнал «Иные берега Vieraat rannat» (Хельсинки), альманах «...На каменистых финских берегах» (Тампере), подписное издание «Личность и культура» (Санкт-Петербург), статьи об истории и значении православных икон, опубликованные в газетах «Катри», «Kirkko ja kaurinki» на финском языке.*

## Наталья Мери

*Natalia Meri*

### Город

**Я** приезжала сюда с радостью,  
уезжала — с разочарованием...  
Ты пленил меня проникающим  
в каждую клетку покоем,  
скандинавской суровой неподвижностью.  
Ты запеленал меня в густой, мягкий туман,  
выпил мою солнечную радость...  
Я засмотрелась на огромных лебедей,  
нарисованных вьюгой на льду  
лесного озера,  
заслушалась шепотом частого дождя,  
растаяла, как мороженое на поверхности  
раскаленного валуна.  
Десятки раз я решала — уеду!  
Туда, где бьются сердца, сияют глаза,  
где ликует радость!  
И каждый раз — добровольно  
возвращалась  
в эти усыпанные ватой покои.  
Неугомонное сердце замедляло ход,  
тело наполнялось вязким туманом.  
Город крепко пеленал меня,  
полностью обездвигивая.  
Но несмотря на это,  
в тайнике моего сердца,  
все еще хранятся  
нежные, непроросшие побеги.

## Свадьба в Дюссельдорфе

**Г**уляли свадьбу в Дюссельдорфе... Звонили все колокола, бледна, тонка и черногрива, невеста в кружевах плыла. Хорош собой, самоуверен — от счастья плавился жених, он со ступеней к самой двери пронес невесту. Зал затих...

Тонули гости в многоречье,  
одни — стройны, одни — странны...  
А свадьба продолжала течь и —  
в сертаки закружились мы.  
Еврей танцует с африканцем,  
китаец — с пуэрториканцем,  
здесь русский, грек, американец,  
японец, серб, поляк, испаец...  
Объединились в яркий круг,  
в нем сто голов и двести рук.  
Горели свечи мягким светом,  
двоясь в огромных зеркалах...  
Все громче и быстрее звук,  
все шире многоногий круг.  
И вот, космические вихри  
подняли дивный хоровод  
на край вселенной, и затихли...

Любовь идет! Любовь идет!





Родилась и выросла на Украине под Киевом. С 1968 года живет в Таллинне. Член Союза писателей Москвы, член Объединения русских литераторов Эстонии и Финляндии. По профессии культработник, в настоящее время ведет литературную секцию прозы в Русском культурном центре Таллинна при ОРЛЭ.

Автор книг «От весны до весны», «Колыбелька из ивовых прутьев», «Срібні росы» (на украинском языке), «Живет девочка Надюшка». Книга «Письма без ответа» напечатана в альманахе «Литературные знакомства» (Москва, 2012). Печталась в журналах «Молодая гвардия», «Москва», «Северная Аврора», «Радуга», «Балтика», «Венский литератор», «Брега Тавриды», «Новый Журнал» (Нью-Йорк), «Вышгород» (Таллинн).

Лауреат конкурса «Под небом Балтики» (2008), международного литературного конкурса в Вене (2011), финалист конкурсов «Русский стиль» (Германия, 2012), «Славянские традиции» (Щелково, 2012), победитель Каверинского литературного конкурса (2013), лауреат премии Марка Алданова (Нью-Йорк, 2013, 2014).

## Мария Розенблит Maria Rozenblit

### Петенька

(Из цикла  
«Невыдуманные истории прошлого»)

**В** семье Будницких детей было много. Два года назад Дарья родила четвертого (это был мальчик), и уже опять ходит в ожидании прибавления. Бабы живо обговаривали положение Дарьи — куда столько рожают? Наверное, не кормит грудью младенцев, поэтому и тяжелая постоянно!

— А мне моя теть Люба из Крутых Горок (помните, приезжала?) говорила, что она хоть и кормила ребеночка, а уже через два месяца была в положении, — несмело возразила. недавно вышедшая замуж Василиса и, незаметно для других, погладила свой живот.

Вскоре и совсем непонятное произошло в доме Будницких. Дарья среди зимы, уже на сносях, вдруг собралась навестить своих родителей в Криничках. Да еще настояла взять с собой двухгодовалого Петеньку. А ехать туда надо было аж через три села!

Муж Дарьи, Филипп Будницкий, пребывал в ссоре с тестем и тещей — те обещали дать за Дарьей в приданное дерева на хату, а в итоге построили себе сарай. С тех пор Филипп и не ездил к родственникам жены.

Уговаривали Дарью не ехать все — от мужа до младшей семилетней Зинки. На улице — морозная зима, везде заносы. Сам Филипп не поедет, придется просить свояка Гришку — тот на колхозных лошадях подвозил корма на ферму. Филипп ругался: «Бабе как втемяшится что в голову — не вышибешь ничем!»

В день отъезда он на работу не пошел, отпросился. Петеньку самолично одевал, укутывал, а когда Дарья с ребенком сидели в санях, еще вынес овчинный тулуп, на случай — вдруг мороз усилится. Уже сани тронулись, а Филипп вдогонку все давал последние указы:

— Одну только ночь переночуй и завтра поутру — обратно! Да смотри хорошенько за Петенькой!

Затем прокричал вслед Гришке:

— Гришаня, надеюсь на тебя! Не подведи! Ты же знаешь, за мной не пропадет!

Гришаня не подвел — путешествие туда и обратно прошло благополучно. Дарья тоже не подвела — за Петенькой смотрела, он даже не простыл. Вот только обратно Петеньку не привезли. Дарья оставила его у родителей. Филипп заходился в гневе:

— Совсем ум потеряла! Ты зачем ребенка оставила? Неужто за ним кто-то лучше доглянет, чем дома родные отец и мать?! А мальчонка-то славный, в моего дядю Антона пошел, тот был красавец. Все, завтра еду, забираю Петеньку домой!

Дарья, как могла, отбивалась:

— Не кричи ты так, Филя! Я же не у чужих оставила. У мамы с папой корова, знаешь, какое сладкое молоко дает? Во всем селе такого не сыщешь! Вот рожу и потом поедем заберем.

Филипп, все еще не остывший, хмыкнул: «Будто у нас нет коровы!» Супруги замолчали, Филипп ушел на работу, и Дарья с облегчением вздохнула: «Кажется, на первых порах пронесло! Пока что идет все так, как задумала, а дальше — даст Бог день, даст и пищу... Нельзя было дольше оставлять Петеньку в селе. Он уже большой, просится на улицу. Зимой еще кое-как, а весной в доме его будет не удержать. И тогда все увидят и поймут...» Дарья удивлялась, как ее муж этого не заметил? Вбил себе в голову, что Петя похож на какого-то дядю Антона. Дарья никогда и не видела этого дядю. Ну, а если похож — так и слава Богу!

Женщина стала наводить порядок в доме, хотя мысли ее были далеко-далеко, за три года назад. Она тогда не думала, что так все получится. Впрочем, Дарья тогда вообще ни о чем не думала. Несла вязанку сухих веток домой. Надо было до дождей запастись топливом. Филиппу некогда — день-деньской без выходных ремонтирует в колхозе сельхозтехнику. Зарабатывает, все мечтает начать строить дом...

С вязанкой на плечах Дарья только подошла к мостику через ручей, и тут ее дрова расплзлись, некрепко затянутая веревка развязалась. Женщина скинула с плеч оставшиеся ветки и присела отдохнуть. А Петро шел мимо и помог ей. Вернее, предложил помочь...

Как-то сцепились тогда сами собой их руки. Видимо, одну и ту же ветку брали. А потом о дровах забыли...

Нравился ей этот мужик! Сколько себя помнит — нравился. Хотя кому он не нравился? Все бабы в открытую завидовали его жене Верке. Хилая, неприметная, волосики мышинного цвета и сама, как серая мышка, а мужика такого отхватила, на всю округу!

Самые бесшабашные иногда прямо спрашивали Верку Петра Черного (его прозвали Черным за широкие, густые брови), чем она привлекла мужа? Неужто позарился на ее волосенки? Та в ответ лишь улыбалась бесцветной, как сама, улыбкой. Но главное — никто никогда не заметил, чтобы Петро ходил «налево»! Было у них двое детей — сын и дочь, оба пошли в Веркину породу. Лишь ростом удались в отца — оба высокие и крупные.

Тогда, у ручья, они сначала честно пытались связать дрова, а когда руки встретились, стали глядеть друг на друга, глаза в глаза... И случилось то, что должно было случиться. Дальше Дарья не очень четко все помнила. Лишь одну фразу, шепотом сказанную Петром, запомнила: «Ты мне всегда нравилась!» Фразой Дарья дорожила, хранила ее глубоко, на самом доньшке сознания — это было хоть каким-то оправданием происшедшего... Как он ей нравился — сказать не осмелилась. А больше ничего не было произнесено, все происходило в молчании.

Очнулась женщина, когда осталась одна. Петро уходил, его еще было видно. Со-



**Ф. В. Сычков. Жница. (1931).**

Сама Дарья признанной красавицей не слыла, но мужики на нее заглядывались. О таких говорят — дородная. Что-то было в ней скрытое, притягивающее. Русая роскошная коса скрадывала, возможно, не очень женственные, крупные черты лица и служила предметом зависти всех Дарьиных сверстниц. На страницах школьных учебников после войны часто можно было встретить плакат с изображением женщины и подписью: «Родина-мать зовет!» Лицо Дарьи повторяло это изображение, как две капли воды.

Несмотря ни на что, Дарья своей жизнью была довольна. Деток много, а скоро еще прибавится. Мальчик будет, Петенька. Она уже знает, рождает не в первый раз. «Будет только мой! Ни одна живая душа не узнает!»

А когда родился Петенька, с первых дней поняла, что хранить тайну будет ой как тяжело! Ребенок полностью, только в миниатюре, повторял портрет Петра Черного.

Поначалу была надежда: будет расти — поменяется. Ведь дети Петра, сын и дочь, совсем на него не похожи, кроме высокого роста. Но время шло, Петенька рос, становился очень красивым, но... похожим пока что одна Дарья знала, на кого. Соседям старалась малыша не показывать — то ветрянку, то грипп, чтобы меньше в хату заходили. И наконец решила Дарья живенько отвезти Петеньку к родителям — к счастью, те жили далеко. Предлог нашелся — скоро рожать, а помочь с детьми некому. Что будет дальше, ведь мальчик растет и еще больше станет похож на своего отца, Дарья старалась не думать.

Весной, как и ожидалось, Дарья родила своего последнего, как они с Филиппом надеялись, ребенка. Это была девочка Нюся, названная в честь Дарьиной свекрови Анны Кирилловны. Филипп постоянно напоминал: надо съездить за Петенькой. Дарья, так ничего и не придумав за это время, как могла, оттягивала сроки.

Однажды днем пришла Дарьиная сестра Танька. Она буквально ворвалась в хату, так шваркнув дверь, что зазвенели стекла в окне. Дарья в это время кормила

вершенно потерянная, Дарья, скорее для себя, произнесла: «Эй, а дрова связать?» Но он этого не услышал.

Уже через неделю женщина почувствовала — бесследно эта вязанка дров не прошло, будет ребенок. Сразу же стала ласковей со своим мужем, чем его удивила, потому как они с Филиппом решили, что детей уже хватит. В один из деликатных моментов, муж простецки напомнил об этом Дарье, что договорились же — спиногрызов больше не рожать. Дарья напустила туману, ударившись в рассуждения о том, что, мол, дети даются свыше и пусть родятся, а мы сами решать ничего не можем. Когда же ее живот явно обозначился, ласковость Дарьи моментально сменилась раздражением. Она вдруг углядела в своем муже грубость, неотесанность. Особенно выводил Дарью из себя один и тот же анекдот про Чапаева, который Филипп постоянно рассказывал где-нибудь в гостях. Его знали все наизусть, и уже никто не смеялся, кроме самого Филиппа... Стала вспоминать, как вышла замуж за своего мужа — все было по доброй воле Дарьи. Значит, видели глаза, что покупали...

грудью Нюсеньку. Татьяна, с красным от гнева лицом, с ходу выпалила:

— Ты чего это учудила?! Весь род опозорила! У меня же две девки растут, скоро будут на выданье! Кто их теперь посватает? Будут родной теткой глаза колоть.

Дарья сначала оторопела, затем, поняв в чем дело, опустила голову и безнадежно спросила:

— Была у наших? Как там они?

— Они там — чудесененько! Петенька-красавец растет, все любят. У них же в селе Петра Черного нету, чтобы сравнить! А он не то что вылитый, он двойник, только маленький! О Боже мой, что же мы будем делать? Не думала я, Дарка, что ты такой лярвой окажешься! Хотя бы другое имя дала мальчишке ты, убогая! А то — Петенька. Тьфу!

Татьяна, сделав паузу, отдышалась и продолжила:

— Как ты его подцепила? Он же за всю жизнь не был замечен ни с одной бабой!

Глаза ее загорелись первобытным любопытством, и она, уже доверительным тоном, спросила:

— А где это произошло и как? В каком месте? Не у тебя же в доме и не у него! Опозорила всех, так хотя бы расскажи все подробно!

Танька придвинулась к сестре и даже руку положила ей на колено, шепнув: «Ну давай, рассказывай!»

Но послышался стук открываемой двери, и в хату зашел Филипп. Дарья облегченно вздохнула, а Татьяна засобиралась домой, многозначительно бросив сестре: «Я завтра обязательно забегу!»

Как-то просочился слух, что с ребенком у Будницких не все благополучно, и новость начали обговаривать по всему селу. Толки были разные: у мальчика заячья губа, и вообще родился уродом, поэтому его Дарья и не показывала до двух лет. Другие говорили, что ребенок родился черненьким, как негр, только глаза блестят. Более рассудительные возражали, доказывая, что во всем районе, да и дальше, нету ни одного негра. А известно, что только от негров рождаются черные детки... Но, как говорится, дыма без огня не бывает, иначе зачем отвезли ребенка и не забирают обратно?

Слухи дошли до Филиппа, и он, справедливо возмущаясь, собрался самолично ехать за Петенькой. Дарья сделала было слабую попытку отговорить мужа, затем махнула на все рукой и смирилась в ожидании неотвратимого.

Филипп с Петенькой приехали на второй день к вечеру. Зашли в дом, Дарья в это время пеленала маленькую Нюсю. Петеньку взяла на руки, поднесла к малышке — познакомиться с сестричкой. Подрок ребенок за это время, по его детской фигурке угадывалось — будет высокий, крупный парень. А личико... оно было нарисовано кистью искусного мастера. Черные волосики на голове не кудрявились в беспорядке, а лежали крупными локонами. Точно так, как у Петра Черного. Видимо от безнадежности, страх у Дарьи исчез, и она спокойно спросила мужа, подавать ли ужин сейчас или позже, когда уложит спать Нюсю и Петеньку, старшие уже спали. Филипп глухо ответил: — «Укладывай детей!» и вышел во двор.

Когда зашел в дом, Дарья сидела в прихожей на скамье, скрестив пальцы рук и опустив голову. Ждала. Филипп тихо, сдерживая себя, спросил:

— По согласию было дело или как?

Если бы Дарья глядела в это время на мужа, увидела бы, с какой надеждой в глазах тот ждал ответа! У женщины не было сил говорить, и она лишь утвердительно два раза кивнула головой. Взгляд Филиппа потух, он что-то промычал и полез за печку, вытащив оттуда толстую веревку, на ходу складывая ее вдвое. Дарья обреченно, тоскливым голосом спросила:

— Будешь бить?

Не дожидаясь ответа, встав со скамьи, опустилась на колени, спиной к мужу, чтобы тому было удобней бить... Филипп со всего размаха ударил веревкой по скамье так, что та треснула на конце, и вышел из дома. Когда зашел обратно, жена сидела на лавке в том же положении. Муж начал одеваться, а Дарья тревожно пыталась заглянуть ему в глаза:

— Филя, ты куда хочешь идти на ночь глядя? Христом Богом прошу, не ходи! Что прикажешь, то и сделаю, только не ходи!

— Ты уже сделала! — буркнул Филипп и ушел, бахнув дверью.

Вернулся домой ночью. Оставшись одна (дети спали), Дарья металась по хате, не находя себе места. Еще немножко и побежала бы вслед за Филиппом. Куда тот пошел — она знала.

Муж зашел в дом, разделся, достал из кармана свернутые трубочкой деньги и со злостью бросил их на середину стола. Трубочка была достаточно толстой. Дарья с ужасом глядела на стол, будто там извивалась шипящая гадина. Еле слышно промолвила:

— Зачем? Отнеси обратно!

— Ну уж нет! — злорадно ответил Филипп. — Каждый должен платить за свои поступки! Пока только мы с тобой платим. А вот теперь и он... — и уже другим тоном закончил: — Наконец-то дом начнем строить!

Дом действительно начали строить, все знали, что Филипп последнее время зарабатывал много, поэтому никто не удивился.

Петеньку стали выпускать на улицу... Как потревоженный пчелиный улей, всколыхнулось все село. Бабы несколько раз совершенно без дела проходились мимо Дарьиного дома, чтобы лишний раз взглянуть на мальчика. При Дарье в открытую цокали языками, поражаясь такому удивительному сходству. Дарье терять больше было нечего, и она ожесточилась, справедливо полагая, что свое уже получила сполна. Поэтому, когда однажды, поздно вечером (Филипп и дети уже были в постелях, а Дарья во дворе заканчивала хозяйственные дела), к ней во двор впервые за все время зашла Верка, жена Петра Черного, Дарья спокойно предложила женщине сесть и ждала, что та скажет. Верка, с покрасневшим лицом, заикаясь от волнения, спросила:

— Скажи мне, Дарья, как получилось, что твой мальчишка больше похож на моего мужа, чем наши с ним законные дети?

Ох и разозлилась тогда Дарья! До какого времени еще ее будут казнить? Сколько она вытерпела — так уже должны простить и Бог, и люди! Ан нет, пришла еще и эта замухрышка!

Дарья оглянулась вокруг на всякий случай, удостоверившись, что никто не подслушивает (главное, чтобы не было вблизи Филиппа!), и с каким-то лихим удовольствием, выговаривая четко каждое слово, ответила:

— А ты полюби его так, как я полюбила! Может, и у тебя родится кто-нибудь похожий!

Верка хватала ртом воздух, а Дарья, не дожидаясь, что та скажет, поднялась и ушла в дом.

Со временем новость о Дарьином сынишке от Петра Черного перестала быть новостью, к ней все привыкли и переключились на более свежие темы.

Филипп как-то незаметно для всех, кроме Дарьи, перестал употреблять имя Петенька и долго обращался к нему безлико. А еще через некоторое время стал называть Петеньку Филиппыч, сначала шутливо, потом всерьез:

— Подсоби мне, Филиппыч, поддержи этот край доски. Надо, чтобы она легла заподлицо.

Дарья также при муже избегала произносить имя мальчика и называла его сынок.

Разницы между детьми Филипп не делал — Дарья по-другому стала глядеть на своего «неотесанного» мужа. Детей больше не рожала после младшей Нюси. В конце концов был построен дом. Старшие дети разъехались кто куда, дома остались Петенька с Нюсей.

Конечно, к этому времени парень знал об истории своего рождения. Хотя был долго в неведении. В школе, особенно в младших классах, Петенька вместе с мальчишками охотно потешался над своей похожестью с дядей, которого звали Петро Черный. По мере взросления он временами задумывался, особенно, когда встретился как-то с Петром Черным на узенькой тропинке, внизу огородов. Они оба тогда от неожиданности малость ошалели. Стояли, забыв обо всем и жадно глядели друг на друга. Разговора тогда не было, каждый хотел «наглядеться», пока никто не мешал. Наконец Петенька несмело, еле слышно произнес: «Здравствуйте» — и, стараясь не коснуться мужчины, протиснулся мимо и пошел, несколько раз оглянувшись. А взрослый Петро, пораженный сходством мальчика с самим собой, даже не ответил на приветствие и все стоял, глядя ему вслед.

В этом году Петенька закончил школу и подал документы в военное училище. А пока наслаждался каникулами и готовился к отъезду. Подумать только — впервые будет жить один, без родных!

Был вечер. Петенька решил сходить к другу Сережке, они вместе поедут в училище. Надо посоветоваться, что с собой брать в дорогу.

Встреча произошла опять на той же тропинке. Первым очнулся мужчина — надо было как-то выходить из положения. Он подал парню руку со словами:

— Ну, здравствуй, Петр! Слышал, хорошо учишься, это правильно. Куда думаешь после школы?

Петенька, весь красный от волнения, не отрывая взгляда от мужчины, ответил:

— В военное училище. Я уже отослал документы.

— А вот это правильно, по-мужски. Молодец! — помолчав, Петро добавил: — Ну как, строительство закончили? Я как-то проходил мимо, видел — большой дом. У тебя, наверное, своя комната есть?.. А ты заходи к нам как-нибудь, не бойся. Знаешь, где мой дом стоит?

Парень покивал головой, мол знает, и заверил, что обязательно зайдет как-нибудь, хотя оба знали, что не зайдет. Петенька тогда не пошел к другу, вернулся домой. Почему-то чувствовал себя виноватым. Подошел к Филиппу и горячо предложил:

— Батя, я сейчас не занят. Завтра пойдем к тебе на работу. Буду тебе помогать ремонтировать. Я ведь скоро уеду, кто тебе поможет?

Филипп хоть и растрогался, вида не подал, попытался превратить все в шутку:

— Ну пойдем, а то как звание дадут, тогда уж батянке помогать вряд ли получится.

Дарья переживала скорое расставание с сыном и не скрывала этого. Отозвала Петеньку в комнату, села рядом и, с трудом выговаривая слова, глядя куда-то в сторону, сказала:

— Петенька, сынок! Ты прости меня...

И замолчала. Закусила губу, не хотела «распустить нюни». А Петенька, изумленный, глядел во все глаза на мать и не знал, что сказать! Мыслимо ли?! Какое «прости»? Да у него мама лучшая во всем селе!.. Он ей об этом так и сказал. Зашел Филипп, и Петенька к нему обратился в продолжение разговора:

— Батя, мамка не верит, что вы у нас лучшие родители! Ты ей скажи, а?

— Скажу как-нибудь. А ты, Филиппыч, если идешь завтра со мной, ложись раньше спать. Подыму рано!

Через год Петенька приехал домой на каникулы. Погибель всем девушкам: в военной форме, а красавец — глаз не отвести! Привез скромные подарочки родным. Отцу преподнес нарядную рубашку, сказав, чтобы в гости одевал только ее, а то все в старой ходит. Вечером Петенька собрался «пройтись» по селу. Взял с собой какой-то пакет, на вопрос Дарьи, что в нем, ответил: «Надо Сережке отнести, это его вещи».

А в голове Петенька давно держал приглашение Петра Черного «как-нибудь зайти». И решил, что это «как-нибудь» наступило.

Он шел по улице, придумывая, что скажет, как поздоровается. Так и не придумав ничего, подошел к дому. Как стучал в дверь, не помнит: очнулся уже в комнате. Хозяева были дома. Петенька, вовремя вспомнив, что он человек военный и ситуацию должен контролировать, поздоровался за руку сначала с хозяйкой, затем с Петром. Верка засуетилась, смахнула тряпкой со стула, предложив гостю сесть. Сама во все глаза глядела на парня, не забывая с опаской поглядывать на мужа. А тот, растерянный, радостный, не знал, что предпринять. Наконец с облегчением обратился к Верке:

— Давай, мать, быстро собирай на стол! — и повернулся к Петеньке с вопросом: — Ну, рассказывай, сынок, как ты там? Трудно?

На «сынка» среагировали и Верка, и сам Петенька. Среагировали по-разному. Верка поджала губы и стала громче стучать посудой. Петенька будто получил долгожданный подарок... Он уже не хотел оставаться — не знал, как ему теперь обращаться к Петру Черному. Ведь тот назвал его сыном. Да и у хозяйки настроение заметно поменялось. Петенька засобирился уходить. Незаметно сунув пакет в угол на скамью, он объяснил, что спешит к другу, тот ждет. Попроцался и вышел.

Верка сразу же увидела оставленный парнем пакет. Тайком от мужа достала оттуда содержимое и ахнула — там лежала мужская рубашка. Злость ее разобрала — сколько это будет продолжаться?! У них с Петром свои дети, не нужен больше никто и ни с какими подарками! Сунула было рубашку с глаз подальше, чтобы не увидел Петро... А перед глазами лицо парня — смущенное, виноватое... Интересно, почему виноватое? А кто виноват? Ну уж точно не этот парень! И Верка, всеми силами сопротивляясь, достала подарок и, подойдя к мужу, сказала:

— Бери, парень тебе оставил!

Петро удивленно развернул рубашку: глаза его загорелись, он по-мальчишески сразу же начал ее примерять. Верка занималась своими домашними делами, ворча под нос: «Хватает теперь этих рубашек! На каждом углу...» Петро из другой комнаты сообщил жене:

— А ты знаешь, Верусь? Рубашка-то в самый раз!





*Родилась и живет в Туле. Окончила филологический факультет Тульского педагогического института и факультет психологии Академии психологии, предпринимательства и менеджмента в Санкт-Петербурге. Работала библиотекарем, учителем русского языка и литературы. Занимается журналистикой, пишет стихи, сценарии, рецензии.*

*Публиковалась в региональных изданиях: журналах «Приокские зори», «Контрабанда», газете «Нет проблем», хрестоматии «Три века тульской поэзии» и др. Член творческой группы развития искусства и кинематографии «Преображение», литературный редактор документальных фильмов «Тяжелые времена тяжелого рока» и «Западный Пелопоннес: из пещер к небесам».*

## Наталия Редозубова

*Natalia Redozubova*

### **Памяти В. Б.**

**Т**ебя быть не может,  
но ты есть.  
Каждый день итожит,  
но ты здесь.

Открываешь окна,  
зажигаешь свет.  
Я совсем оглохла,  
а ты нет.

.....

Я весь день пасую,  
мажу: не мое —  
гулкое, литое  
время под ружье.  
Я, мой друг, мелею,  
годы, города  
оказались злее,  
чем моя беда.

Может, чужестранцы —  
и не их вина,  
что никто не знает  
наши имена?  
Или я с вокзала  
в эту кутерьму,  
от своих отстала  
и теперь в плену?

Вспышки, сумрак: лица,  
только нет лица,  
улица ярится  
и теряется...

.....

Но сегодня — тайна:  
ни зимы, ни лет.  
Тонкое касанье,  
свет...

### **Имя**

**К**ак лед вискам в глубокий зной и жар,  
как влага талая горячечным губам,  
как мыслям, заблудившимся в себе,  
и дрогнувшим, и пойманным в силки,  
и обессиленным в разреженном бреду,  
и не достигшим цели (стрелы — грудь) —  
отдохновение —  
так только звук,  
иль начертание, или вопрос,  
или предчувствие о имени твоём —  
в несметном сумраке, в пустынном мираже,  
в туманном мареве, где каждый сир и нищ —  
являет вдруг пришествие весны —  
и пробуждается уснувшее навек,  
и тянется согбенное наверх,  
и нареченное пронзает высь.

\*\*\*

**С**потыкающимся нужен костыль.  
Поищу его я, а ты остынь.  
Мало ли, что привидится в темноте.  
Нужно из всех слагаемых выбрать те,  
которые при перестановке не подведут.  
Остается складывать,  
умножать — непосильный труд.  
Когда сотый раз бьют по рукам,  
проникаешься благодарностью к дуракам.  
Претензии к жизни сводятся до  
самых простых вещей: здоровье, пальто,  
чтобы настало лето, свистел комар.  
И каждая малость поистине Божий дар.

51

### **Фигурки**

**М**ы были фигурками глиняными —  
нас Бог лепил,  
податливые и милые —  
вода да ил.

Твори совершенство грозное  
Своей любви,  
подбрасывали хвороста:  
гори, гори.

Прочнее стали, не олова  
в горниле бед  
мы стали, стоим на полочке —  
стекло и свет.

Теперь изрядно повысохли:  
пройдет пять лет,  
и мальчик вздохнет на выставке:  
в них сердца нет.

## Прощеное воскресенье

**В** срок не пришедшая весна  
шлет утешительные письма.  
В холодном воздухе повисли  
декоративные слова.

Сегодня суждено простить,  
и может что-то измениться,  
и, если суждено проститься,  
то не предав и не убив.

В навязанном и зыбком сне  
неимоверная усталость.  
То лучшее, что есть во мне,  
оставь со мной, чтоб я держалась,

Не говори, что я в огне,  
оставь мне для прощенья силы,  
поверь, что мне невыносимо  
то худшее, что есть во мне.

О как поспешность не права,  
как невозможно быть нестранной,  
моя душа — сплошная рана  
и непрерывная вина.

Сегодня суждено простить,  
и может что-то измениться,  
и, если суждено проститься,  
то не предав и не убив.

.....

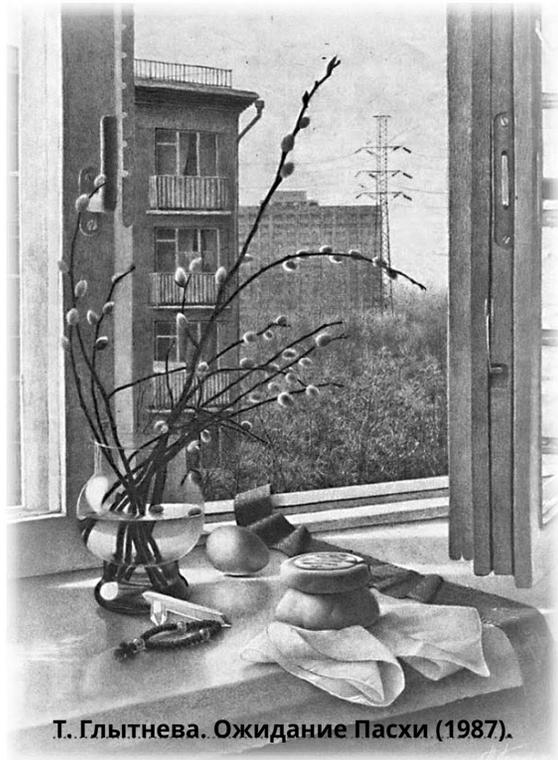
Какая горечь — воскресенье,  
все заживет, ты не грусти.  
В вечернем сумраке весеннем:  
прости меня, прости, прости...

\*\*\*

**С** тихи в альбом —  
такая шалость  
и роскошь минувших веков —  
все то, что в памяти осталось  
незавершенностью штрихов:  
огни вокзалов и столицы,  
меняющие имена,  
чужие и родные лица  
в проеме Вечного Окна.

## Пасха Христова

**С** ветлой полночью  
выйдет солнышко,  
хоть и ноченька —  
да рассвет.  
И отступит печаль  
безмолвная:  
после темени,  
после польмя —  
птичкам — песни,  
а сердцу — свет.



Т. Глытнева. Ожидание Пасхи (1987).

## Звук

**О**т щедрости растаяв и дивясь  
твоим дарам-подаркам-подношеньям  
(природа перепутала прошенья  
и осенью цитирует весну), —  
тебя пытаюсь я предугадать,  
не разгадать, а только лишь услышать,

вдруг обретая нежность в тишине  
и тонкий, но захватывающий звук,  
наполненный неведомой мне силой.

И что-то новое в себе читаю, друг,  
какой-то бой я выиграла что ли:  
во мне — любовь, и в мире — тишина,  
в природе — осень, может быть — весна...

...Мы говорим на языке одном,  
который именуется в н и м а н ь е м,  
никто не отделен, не наделен  
каким-нибудь несносным дарованьем,  
я только знаю, что тебя я з н а ю —  
мечты, любое из твоих имен.  
Блаженное: я поняла теперь,  
так почему природа молчалива,  
и так страшится наших поединков —  
безумного припадка самолюбья,  
что искажает лица, голоса, —  
она п о с л у ш н а миру, небесам,  
и нам внимает терпеливо.  
И детская наивность видит чудо,  
там, где идет столетняя война,  
и здесь приходят письма ниоткуда  
тем, кто читает эти письма —  
и в них — тот з в у к, звучанье тишины  
в ладонях осени, в лучах весны.

\*\*\*

**В**друг оголятся старые раны —  
странно,  
как временами боль неизбежна.  
Бездна  
разом поглотит робкие всходы.  
Годы  
новые возвращать и защищать  
от бури.  
Где-то в лазури  
этакий страх неведом.  
Следом —  
любовь, и совсем не ранит  
память.

\*\*\*

**О**правдаю, прощу, забуду,  
прикоснусь к холодной воде,  
даже если и верить в чудо —  
то, скорей, на чужой звезде.  
А у нас, как и встарь... За бытом —  
чашки-блюдечки, лоскуты —  
иногда на лице открытом  
проступают твои черты.  
Уношусь, взмываю, летаю  
в пику времени и счетам,  
разбиваюсь, приобретаю  
уйму опыта, новый шрам.  
Залижу, и судьба поможет  
жить по-новому, жить без крыл.  
«Всеу всяк человек...» Ты, Боже,  
так замыслил или открыл?

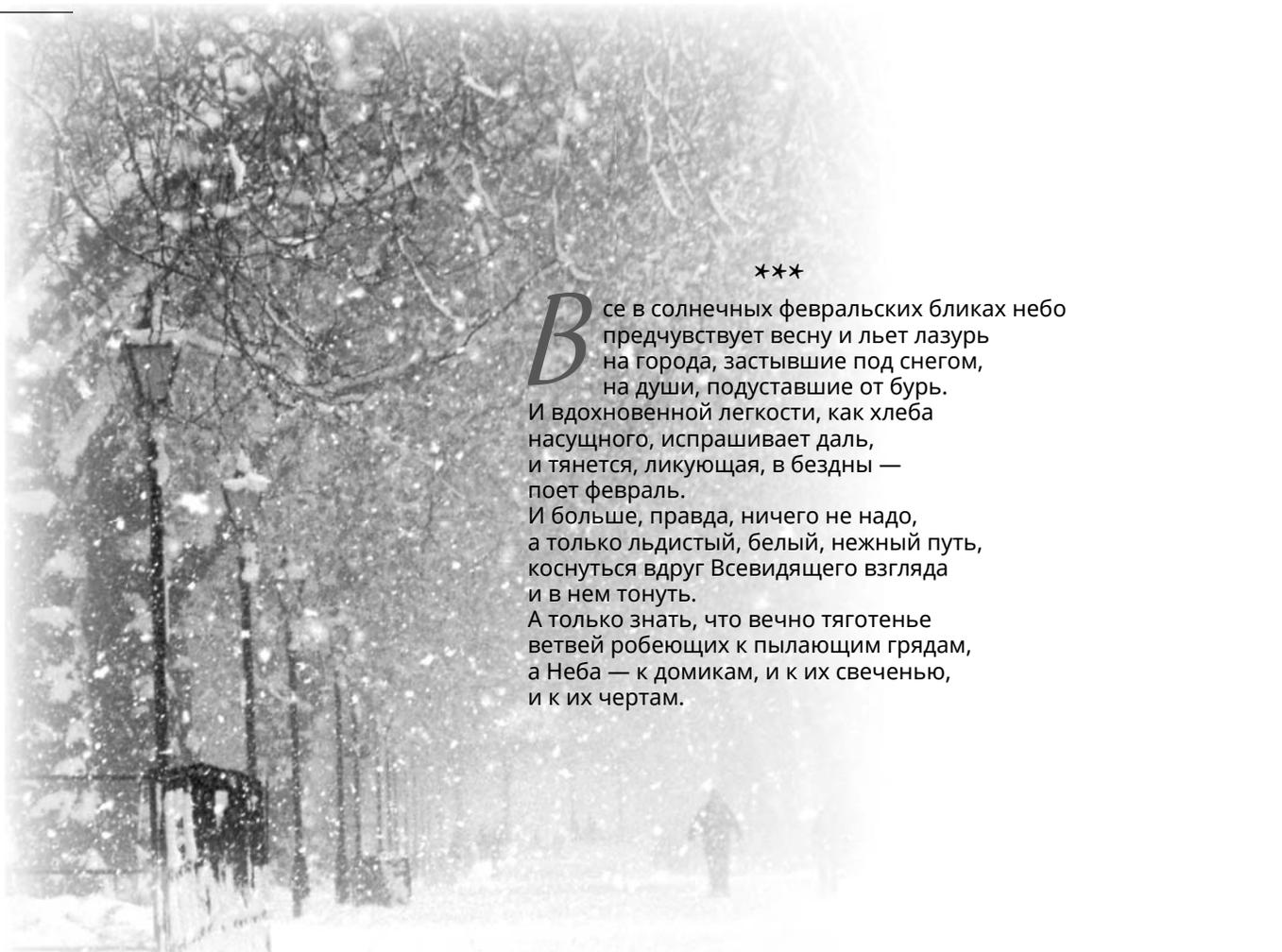
## Воздух

...**р**ассказывать тебе о пустяках:  
как жизнь идет, рабочий распорядок,  
что в следующую среду — юбилей,  
где будут все (в себя вернусь едва ли).

...а я тоскую, знаешь, по тому,  
что было с нами в прошлом —  
это старость, неблагодарность жизни,  
даже грех — и, все же, так же слушаешь,  
молчишь — и ждешь: когда же я скажу,  
что время, возраст, прочие отметки,  
которыми означено житье,  
не значат ничего — есть только воздух —

с той колокольной — Ярославной в небе:  
ее высокий стан, неброский звон,  
мерцание таинственных лучей;  
провинции веселые картинки,  
неоновые огоньки на снимках  
тех безмятежных, как теперь

нам видно, дней...



\*\*\*

**В**се в солнечных февральских бликах небо  
предчувствует весну и льет лазурь  
на города, застывшие под снегом,  
на души, подуставшие от бурь.  
И вдохновенной легкости, как хлеба  
насущенного, испрашивает даль,  
и тянется, ликующая, в бездны —  
поет февраль.  
И больше, правда, ничего не надо,  
а только льдистый, белый, нежный путь,  
коснуться вдруг Всевидящего взгляда  
и в нем тонуть.  
А только знать, что вечно тяготенье  
ветвей робеющих к пылающим грядам,  
а Неба — к домикам, и к их свеченью,  
и к их чертам.

## МЕМОУАРЫ *Muistelmia*



**Людмила Яковлева**  
*Ludmila Jakovleva*

### **Мое саратовское детство**

*Врач, кандидат медицинских наук. Работала в Ленинграде научным сотрудником в одном из ведущих медицинских НИИ, автор более сотни научных статей и книг. В 1991 году с семьей переехала в Хельсинки. В настоящее время является секретарем Объединения русскоязычных литераторов Финляндии.*

*Рассказы и переводы публиковались в журналах «Иные берега Vieraat rannat», «Родная Ладога», альманахе «Царицынские подмостки», малотиражной газете «Yhdessä». Автор книг «Человек, утративший надежду. Биография поэта Вадима Гарднера, рассказанная им самим» (2008), «Записки дамы элегантного возраста» (2009), «Моих странствий ветер...» (2010), «Три цвета времени. Дороги, которые нас выбирают» (2013), «Судьбы моей калейдоскоп» (2014).*

**П**ервый день войны мне запомнился хорошо, несмотря на то, что было мне в те времена три года. Жили мы тогда, как говаривали у нас в семье, «в районе», то есть где-то в Саратовской области: папа там был прокурором. Я не очень отчетливо понимала, что произошло, но помню жутковатое и не совсем ясное мне ощущение общей, большой и непоправимой беды. Как сейчас вижу прекрасный солнечный день, ветер несет вдоль улицы без единого дерева, без единого цветочка, желтую пыль и мусор. Папы уже нет с нами. Он в первый день, сразу же после объявления войны, ушел добровольцем на фронт. Мама прямо на улице перед домом пыталась продавать какой-то наш скраб. Вижу мои книжки, разложенные для продажи, может быть те самые, которые я так любила читать с мамой перед сном. Но у нас никто ничего не покупал, потому что все были в таком же положении. Мы с мамой уезжали к бабушке в Саратов.

В Саратове мама стала работать следователем в городской прокуратуре. Все мужчины ушли на фронт, и в прокуратуре остались только пожилые мужчины и женщины. Время было тре-

важное, преступность росла. Одно время у мамы при выезде на «происшествие» милиционером был мальчик восемнадцати лет, ожидавший призыва в армию. Они с мамой боялись одинаково, но мама, держа перед собой в дрожащей руке пистолет, шла впереди, а ее помощник прятался сзади. Пистолет в маминой сумочке я видела сама и очень боялась его. В блеске и особой тяжести его чувствовалось что-то роковое, безвозвратное.

Однажды, играя в свои куклы, я услышала, как мама рассказывала о вызове на квартиру пожилой женщины — нашли ее труп. Покойница была очень одинокой и, не видя смысла в продолжении жизни, решила расстаться с ней. Обо всем этом она написала в предсмертном письме. У нее была последняя просьба:

не вскрывать ее труп, так как, по ее словам, в желудке у нее не найдут ничего, кроме маленькой рюмочки ликера и большой дозы снотворного...

Жили мы у бабушки, часто случалось так, что одновременно с нами у бабушки жили и другие наши родственники. Саратов был далеко от линии фронта, сам город немцы не бомбили, за все время войны ни одна бомба не упала там. Они бомбили железнодорожный мост через Волгу, а также, как все говорили, «крекинг» — нефтеперерабатывающий завод. Каждую ночь мы слышали страшный, леденящий душу своей монотонной неотвратимостью гул немецких самолетов. По радио объявляли воздушную тревогу. Первый раз мы вместе со всеми побежали в бомбоубежище — душное помещение, освещенное тусклой грязной лампочкой под металлической сеткой. Люди, в основном женщины и дети, сидят, прижавшись друг к другу, лица серые, испуганные, вид маленьких загнанных и обреченных на заклятие зверушек. В руках у каждого какой-то скарб. И разговоры подстать обстановке. Больше мы с мамой в бомбоубежище не бегали. Дома, в бабушкиной кровати, я спокойно засыпала под гул вражеских самолетов. Над моей головой висел большой портрет маршала Буденного, я верила ему, он как бы защищал меня. С одной стороны, мы знали, что бомбят мост и завод, а с другой стороны, были уверены, что уж с нами-то ничего случиться не может. Случается только с другими. Не могу сказать, бывали ли повреждены объекты бомбежки.

Жила бабушка, а следовательно, и мы, в трех- или четырехэтажном доме в самом центре Саратова на площади Революции, в двух шагах от театра оперы и балета имени Н. Г. Чернышевского. Сразу перед домом был парк, кажется, тоже имени Революции, а в правой части парка — музей Чернышевского. А может быть, и парк носил имя Чернышевского? Уже не помню.

В Саратове, как известно, родился и жил великий русский демократ и революционер Николай Гаврилович Чернышевский, и потому все, что только возможно, носило имя Чернышевского. После войны и город хотели переименовать в Чернышевск. Музей, который впоследствии стал носить имя Чернышевского, организовал внук великого революционера, очень хороший, но не очень известный художник Алексей Петрович Боголюбов. В «Советском энциклопедическом словаре» выпуска 1984 года о нем написано: «...русский живописец. Передвижник. Поэтические пленэрные пейзажи, сцены морских сражений».

Саратовский музей — это примечательное собрание картин. Я хорошо помню многие из них, так как видела их с раннего детства по многу раз. И вот еще одно удивительное обстоятельство. Война закончилась, когда мне было шесть лет: не думаю, что в те времена у меня водились деньги. Скорее всего, добрые старушки-смотрительницы пускали в музей детей без платы, чтобы мы не болтались на улице. И здание музея, и картины я до сих пор вижу перед собой. Особенно запомнился мне вестибюль. Почему-то мне кажется, что там висела картина Ильи Репина (или ее копия, или мне грезится) «Иван Грозный убивает своего сына». Я всегда долго рассматривала эту картину, вглядывалась в налитые кровью глаза царя, и мне было очень страшно. Сейчас у меня уже нет возможности проверить, висит ли там эта картина и висела ли в те времена, но вижу я ее явственно.

В 1983 году я три месяца училась на курсах усовершенствования врачей в Москве, все свое свободное время используя на культурные программы. В доме Л. Н. Толстого тогда была организована выставка из собраний Саратовского музея. Когда я увидела картину Нестерова «У колдуна», я сама, так же, как и героиня картины, без сил опустилась на музейный диванчик: так сильно нахлынули на меня воспоминания из моего саратовского детства... Не знаю, сколько я так просидела, но все, что было, все мои детские переживания пронеслись перед моим мысленным взором, и слезы ручьем текли по моему лицу...

В саратовском садике одно время была глубокая яма, заполненная водой, и мы, дети, торчали там целыми днями — мам ведь дома не было. Мы возились в глине, что-то лепили, строили. Вечером приходили мамы, разбирали нас, отмывали; моя мама еще и ругала. А у меня от грязи и воды начались цыпки —

колени покрылись сыпью и ранами, мама мазала их какой-то мазью. Я плакала от боли, а мама, поругивая и называя грязнулей, мыла меня. Тем не менее, мы с ней из этой же ямы набирали глины и лепили фигурки зверей. Мои фигурки были смешные, беспомощные и не походили ни на что, а мама вылепила медведя, мне он казался очень выразительным и симпатичным.

Слева от сада Революции был театр. Вот так, между театром оперы и балета имени Чернышевского и музеем Николая Гавриловича проходило мое детство. Тогда же, во времена моего военного детства, я впервые попала на театральное представление. Конечно, это было «Лебединое озеро». Поняла я мало, все время задавала вопросы и мешала маме. Мама пыталась пересказать либретто, но я мало что понимала. По-видимому, все вокруг было таким необыкновенным, — и здание театра, и музыка, и костюмы, и необходимость следить за сюжетом, — что не помещалось в мою детскую голову. Но ощущение чего-то прекрасного и восхитительного сохранилось навсегда. Тогда и вся постановка, и все танцовщики казались мне самыми талантливыми и самыми прекрасными. С тех пор в театр мне хотелось всегда. Помню, как однажды я «проканючила» целый вечер, умоляя маму взять меня с собой в театр. Я ходила за ней, как хвостик и ныла, ныла, ныла: «Возьми меня! Возьми меня с собой! Я буду очень послушной!» До последней минуты я все надеялась: и когда мама надевала тонкие чулки, нарядные туфли и платье, и когда она причесывалась, и когда подкрашивала губы. Но, как только она надела пальто и взялась за дверную ручку, я поняла, что все кончено и заревела... Вообще, я была ужасная «клянчушка» — все время что-то выпрашивала. А бабушка так и звала меня — «коляда».

Скажу несколько слов в память о том театре, потому, что его уже больше нет. Не знаю, кем и когда он был построен, но это был прекрасный театр, изящный, как бонбоньерка. Он был очень маленьким, но оформлен в классических традициях русского ампира: массивный занавес, роскошная люстра, лепнина, позолота, бархат в партере и ложах. При первом посещении театра я сидела в одной из этих позолоченных лож.

Потом кто-то придумал расширить этот театр. И как, вы думаете, это сделали? Ни за что не догадаетесь! Прямо над существующим и еще функционирующим театром начали строить новое, нелепое сооружение в стиле модерна 60-х годов, похожее на ангар или вокзал со стульями из гнутой фанеры. Когда стены нового здания были готовы, старое, находящееся внутри, разрушили. Я была в новом театре только один раз, уже в студенческие годы. Старый театр умер, как герой, стоя, не склонив головы, а в новый театр мне больше не хотелось.

Посещали мы, дети, также и театр юного зрителя. Это был один из первых театров для детей в стране. С ним также связаны лучшие и прекраснейшие минуты моего детства. Здесь рождались самые благородные порывы детской души, здесь давались самые святые мои детские клятвы.

Хочу сказать, что я так же, как и многие девочки, с самого раннего детства оказалась в плену у театра, этого волшебного мира прекрасной неправды и яростной достоверности. Впрочем, кто из детей дома, пока родители были на работе, не играл во взрослую жизнь? Не прав ли был Сомерсет Моэм, который считал жизнь театром, а театр — настоящей жизнью? Мы разыгрывали все: от прочитанных книг и виденных спектаклей, до семейных ситуаций. После школьных занятий вплоть до прихода с работы родителей мы были предоставлены сами себе: чья-нибудь квартира была в полном нашем распоряжении, и мы надевали мамини платья и туфли, пользовались косметикой и вообще, стояли на головах.

Что касается меня, то я никогда не мечтала стать актрисой, но любила ходить в театр. Сколько себя ни помню, на вопрос, кем я собираюсь быть, я отвечала: — главврачом. Для театра же, я всегда это чувствовала, у меня мало данных. Больше того, всю жизнь все, что связано с театром, — актеры, костюмы, запах кулис и особенно декорации, — казались мне чем-то волшебным, высоким и недоступным. На артистов смотрела я снизу вверх. Если бы мне в те времена кто-нибудь

сказал, что у них такая же физиология, как и у других людей, я ни за что бы не поверила и восприняла бы это как личное оскорбление. Впрочем, такой идеализм я с лихвой компенсировала прагматизмом последующих, более зрелых лет, приобретая, возможно, в силу своей профессии, сугубо материалистический взгляд на жизнь и на мир.

Но вернемся к годам моего раннего детства, к военным годам. За садом возле нашего дома, собственно, и находилась площадь Революции. В те времена она казалась мне огромной, бесконечной, я никогда даже и не пыталась одна перейти ее. Здесь проводились праздничные парады. Особенно мне помнится Первомай. Нежное и прекрасное время ранней весны, праздник, красивые и рядные демонстранты проходят колоннами и радостно кричат «Ура!»

За площадью находился волшебный мир — городской базар. И вход в него был, как в Зазеркалье, через маленькую дверцу. Это место как бы вышло из сказки. Мне казалось, что здесь можно купить все. Когда бабушка была в добром настроении, она покупала мне что-нибудь вкусенькое, и это был праздник. Поэтому я любила ходить на базар с бабушкой и, чтобы получить то, что хотела, могла, как говорили в нашей семье, «канючить» бесконечно. А бабушка говорила: «Ну, начала, коляда».

Бабушка жила в маленькой квартирке на первом этаже. На кухне были кран и раковина, но других «удобств» не было: они находились далеко, в глубине большого двора. На ночь в кухне ставили ведро, пользоваться которым мне было крайне неприятно и затруднительно из-за маленького роста и очень большой стеснительности. И вообще, я была недостаточно взрослой, чтобы ходить так далеко в туалет без сопровождения мамы или взрослой тети.

В гостиной у бабушки стояла старинная горка, украшенная наверху богатыми резными завитками из дерева в виде кокошника. В горке хранились очень красивые вещи, трогать которые, нам, детям, категорически запрещалось. Именно поэтому соблазн открыть горку и потрогать то, что было внутри был совершенно непреодолим. Однако нарушение запрета всегда замечалось, и за ним неотвратимо следовало наказание.

Среди прочих сокровищ там стояла хрустальная конфетница или сахарница в виде тележки с металлическими фигурными колесиками и такой же, украшенной резьбой, крышкой. Когда мне было лет шесть или семь, мы уже жили отдельно, и у бабушки бывали только в гостях. Я была в полном восторге от этой сахарницы, и каждый раз просила поиграть «тележкой». Как-то бабушка сказала мне, что отпишет мне тележку после смерти — такие шутки были в ее духе. Однако я сразу сообразила свою выгоду и, придя к бабушке в очередной раз, тотчас спросила: «Ты еще не умерла?» Так повторилось еще и еще. Чего-чего, а разговоров о ее возрасте и смерти бабушка совершенно не переносила. На третий раз она в сердцах швырнула мне тележку и тут же ушла в другую комнату.

Так, не совсем честным путем я все-таки добилась желаемого. Я была так счастлива, что мне даже не было стыдно за то, что я «выклянчила». Эту сахарницу я любила всегда. Когда была маленькая — как интересную игрушку, а когда повзрослела, и бабушки уже не стало на свете, как память о ней. Хрустальную ее часть позднее разбил мой маленький брат Сережа, который тоже восхищался сахарницей. Вместо разбитой хрустальной части я подобрала другую, стеклянную, разумеется, не такую элегантную — из четырехугольной патологоанатомической банки. Позднее одна милая девушка украсила ее резьбой. Вся конструкция смотрится очень симпатично, хотя о подлинности говорить не приходится. Я никогда и нигде, ни в музейных экспозициях, ни в других местах не видала ничего подобного. Сейчас эта конфетница стоит у нас в серванте — семейная реликвия.

...

Во время войны в Саратове не было такого жестокого голода, как в Ленинграде, но все-таки было очень плохо с продуктами, мы с мамой голодали. Хлеб выдавали по карточкам, за ним надо стоять в очереди. Я была очень худенькая, почти прозрачная. Когда мама мыла меня в нашей комнате в тазике, то плакала, так как

боялась, что я умру. Врач сказал, что у меня анемия и что мне надо давать кагор. Какой кагор, когда и хлеба вдоволь не было! Тем не менее, кагор я получила, но уже во времена Ленд-Лиза. Американская помощь, которую мы с мамой стали получать в виде продуктовых посылок от папы с фронта, спасла меня. У меня даже книжки американские были. Но это все уже в конце войны. Я выжила, хотя анемия у меня осталась навсегда: два раза в моей уже взрослой жизни значение гемоглобина падало так низко, что врачи удивлялись, как я еще жива.

Не могу не вспомнить, как первый раз мы получили от папы в посылке сахарный песок, о котором во время войны и думать забыли. Он был в поллитровой, не полностью заполненной баночке, немного подмоченный и, когда я переворачивала баночку, шевелился, как живой: так и прозвали его «живой сахар». Мы с мамой были счастливы, естественно, нам и в голову не пришло накладывать сахар ложкой в чашку: это сокровище надо было растянуть надолго. По чьему-то совету мама сварила сахар с молоком. Я даже сейчас вижу сковородку с кремового цвета массой, которую мама, когда та затвердела, порезала на квадратики. С этими «конфетами» пить чай был гораздо экономнее, чем просто набухать сахар в чашку. Мы не могли так роскошествовать.

Сейчас я начинаю вспоминать, что в нашем большом и заселенном разным народом дворе в те трудные времена все пытались выжить самыми разнообразными способами. Так, моя бабушка гладила уже готовые чулки для какой-то артели. Связанные чулки приходили к ней в весьма неприглядном виде, связкой тряпок, и она придавала им «товарный вид»: натягивала на специальные формы, повторяющие очертания ноги, натирала воском, а затем проглаживала страшными утюгами, набитыми горящими углями. После этого чулки приобретали такой же вид, как и современные.

Дворником в нашем дворе был татарин Миша Мамедов. Жену его я не помню, но сына Энвера помню прекрасно: это был юноша классической восточной красоты. Об их семье я вспомнила потому, что у них был маленький «бизнес» — они готовили леденцы. Сперва варили сахарную массу. Кто-то из помощников выходил во двор и месил ее, много раз, как шарфик, растягивая конгломерат массы, затем складывал вдвое, и снова растягивал. И так до бесконечности: растягивал и складывал. Затем массой заполняли ручной пресс. Формочки прессы я также видела много раз. Но вкуса леденцов не помню — они для нас были слишком дорогими.

Однако со мной, больной и прозрачной, надо было что-то делать. Бабушка купила козу, и я стала пить козье молоко. Бабушка моя, человек неожиданный и нестандартный, была способна как на хорошие, так и на плохие поступки. Не могу вспомнить, где мы держали козу, скорее всего, в складском помещении напротив бабушкиной квартиры, где бабушка во времена до и после козы держала свои ценные вещи. Склад этот имел огромную металлическую дверь, которая запиралась на большущий висячий замок. Когда бабушка открывала свой склад, нам не разрешалось не только входить туда, но даже смотреть внутрь.

Однажды мы с козой гуляли в палисаднике под окнами нашего дома. Вдруг я услышала какой-то странный, никогда ранее не слышанный мною звук. Я никак не могла понять, откуда он исходит, вертела головой, но ситуация не прояснялась. Проходящая мимо соседка крикнула мне: «Иди, скажи бабушке, что ваша коза родила козленочка». Тут-то я и увидела новорожденного и поняла, откуда шел странный звук. Козленочка сразу взяли в дом, и он некоторое время жил в бабушкиной квартире. Он был очень веселым и озорным, бегал, прыгал повсюду, все пытался жевать и перепортил много вещей. Потом и коза, и козленочек куда-то делись, куда, я не помню, но здоровье мое стало улучшаться.

Двор наш в те времена казался мне огромным. Это было пространство, слегка засаженное деревьями, цветами в палисаднике, и со всех сторон окруженное домами. Население домов было очень разнообразным. Впрочем, все про всех все знали. Я дружила со всеми детьми и почти у всех бывала дома. Правда, в одну семью

и меня, и других детей никогда не приглашали. Члены этой семьи причисляли себя к элите и держались особняком. В отличие от всех прочих семей, в которых отцы были на фронте, или уже погибли, в этой был отец. Каждый день он, одетый в хороший костюм и светлую рубашку с галстуком, ходил на работу. Он проходил по двору прямой и строгий, ни на кого не глядя и ни с кем не здороваясь. Как утверждала дворовая молва, отец семейства был освобожден от фронта в связи с болезнью легких, может быть, туберкулезом. Но злые языки говорили, что перед посещением врачебной комиссии он что-то курил или принимал, и это давало на рентгеновской картине затемнение в легких.

В этой семье был мальчик моих лет. Он играл с нами. Мне он казался необыкновенным, я была в него влюблена. Уже взрослой я прочла дневники драматурга Евгения Шварца: он писал, что в раннем детстве «еще не умел влюбляться». Я влюбляться умела всегда. Первый раз я влюбилась в детском саду, в мальчика Борю: он был белокур и голубоглаз, а в остальном мало отличался от прочих детей. Мне было приятно смотреть на него, а также и вспоминать, как я на него смотрела.

Во дворе же большую часть времени я проводила с девочкой по имени Лида. Как сейчас вижу ее расплывшуюся маму, которая всегда что-то готовила в большой, полутемной и не очень чистой кухне. Мимо этой кухни я пробегала быстро, закрыв от страха глаза, а Лида рассказывала, что там много тараканов, и мама, не боясь, ходит по ним босыми ногами. Этот рассказ до сих пор приводит меня в содрогание. Я никогда, даже сейчас, не смогла бы ходить босыми ногами по тараканам. В гостиной у них, как и у моей бабушки, стояла швейная машина. Все швейные машины тех времен были производства фирмы «Зингер», и все были покрыты ажурными, вязаными крючком покрывалами. Почему-то дети любили сидеть под этой машиной, на ее педали. Мы с Лидой также часто забирались под это покрывало, обсуждали наши девичьи дела, грызли семечки, а шелуху бросали в фарфоровую пепельницу в виде большого птенца с широко открытым клювом.

Дома, у бабушки, я также любила забираться под ажурное покрывало швейной машины и сидеть там. Но моя бабушка при этом нещадно ругалась, так как я раскачивалась на педали и, как она утверждала, путала нитки. Я уже упоминала, что бабушка моя была мастерицей на все руки. Мама рассказывала, что в молодости она была отличной брючницей, то есть прекрасно шила мужские брюки. В нашей семье все, и мужчины, и женщины, умели шить. Меня также с раннего детства обучили портняжному ремеслу, и сшить что-нибудь для меня не проблема. Это особенно ценно, если учесть, что я всегда была большой кокеткой, и всегда, и сейчас также, любила приодеться.

...

Как можно без труда догадаться, мы с мамой надоели бабушке изрядно, поэтому через некоторое время перебрались в маленькую комнатку в нашем же дворе. На самом деле, хозяйкой этой комнаты была «баба Капа». Я боялась ее смертельно. Она, сморщенная, как старый гриб, большая и широкая, в длинных, развевающихся, неопределенного цвета одеждах, жила в соседней комнатке, а та, которую мы заняли, принадлежала ее, сидевшему в тюрьме сыну. Естественно, что она ненавидела нас люто, собирала на нас компромат и с удовольствием изливала свои чувства на меня, девочку пяти-шести лет. Обстановка в нашей комнатке была до крайности простая — топчан, на котором мы с мамой спали вместе, у окна стол и два стула. Мама уходила на работу, а я целыми днями сидела в этой комнатке одна, запертая на всякий замок. Моим единственным собеседником и компаньоном было радио. Я слушала все передачи подряд, но, по понятным причинам, особенно любила детские, которые транслировались по утрам. По радио передавались сказки, я слушала и сопереживала, вернее, жила в самой сказке, внутри ее, была главным действующим лицом. Особенно запомнилась мне сказка о Дюймовочке. Это я качалась в сплетенном из травинки гамаке, это мое сердце сжималось от ужаса, когда я впервые увидела уродливые морды жабы и ее глупого сына, я плыла по воде на листе кувшинки, и это ко мне в конце сказки прилетал спаситель-эльф. До сих пор я связываю эту сказку с той нашей военной комнаткой-

кой, окно которой упиралось в серую стену соседнего дома.

Естественно, что я шумела, пела и еще как-то беспокоила бабу Капу. Мама приходила домой поздно. К этому времени я уже уставала, была тихой и полусонной. Это очень беспокоило маму, она боялась за мое здоровье. А баба Капа на все лады расписывала, какая я хитрая интриганка, как ловко прикидываюсь несчастной — ведь весь день я пела и кричала. Обо всем этом я узнала позднее от мамы, сама я этого не помню.

Когда я болела, мама всегда готовила мне гоголь-моголь. Как могла она в те времена достать хотя бы одно яйцо, я не знаю. Но она приходила домой, держа в руке это сокровище, и сразу начинала сбивать его. Всю мою жизнь мама умела уговорить меня съесть и выпить любое лекарство. Она уговаривала и уговаривала меня до бесконечности, пока не достигала своей цели. А гоголь-моголь скорее всего родом был из стихов Корнея Ивановича Чуковского про доброго доктора Айболита.

По-видимому, комнатка наша ничем не отапливалась, так как я помню, что у нас всегда была включена электрическая плитка с открытой спиралью — других в те времена просто не было. И как только мы не сгорели! Представляю, как волновалась моя мама, оставляя меня на весь день запертой в комнате с горячей плиткой. Но мама была очень строгой, она жестко инструктировала меня, что можно и чего нельзя делать ни в коем случае, а я боялась маму.

Плиткой пользоваться было запрещено, и потому мы закрывали ее фанеркой. Но со временем бдительность наша ослабла, и мы иногда забывали прятать плитку. Хорошо помню свой совершенно животный ужас, когда однажды баба Капа пригласила кого-то из домоуправления, отогнула почти наполовину и, можно сказать, свернула в трубку фанерную дверь нашей комнатки, показывая содержимое наших палат. Я очень испугалась, у меня возникло такое же чувство первобытного, животного страха, какое испытывал финдиректор Григорий Данилович Римский, видя в форточке своего кабинета бесконечно-резиновую, покрытую следами тления, руку Гелы. Баба Капа и была для меня воплощением потустороннего зла.

В домоуправлении, думается, не были в восторге от того, что мы с мамой жили при включенной электрической плитке, скоро у нас появился печник и сложил нам небольшую печку. То ли печник оказался неумелым, то ли дымоход был не в порядке, но печка не удалась: дымила, и мы угорали. Тогда мама сама разобрала прежнюю печку и сложила новую. Новая печка была невысокой и наверху получилась небольшая лежанка для меня. Но зато она оказалась весьма удачной: не дымила и была экономной. Я же говорила, что у нас в семье все — мастера. Когда мама меня мыла, то после мытья сажала греться на эту печку.

Из-за сложных отношений с бабой Капой я очень боялась выходить из нашей комнатки. Во всех домах нашего двора был водопровод, и у нас на кухне также имелся кран с раковиной. Про другие «удобства» я уже писала: все было во дворе. Это было большое помещение, я никогда не доходила до его конца. Ходить сюда одной было страшновато. Здесь всегда была непролазная грязь и вонь, летом в каловых массах копошились личинки мух. Зимой же скапливались конгломераты замерзших фекальных масс, ходить по которым было просто опасно. Это место я посещала только с мамой.

...

Мы жили одни, бабушка нам больше не помогала, и голод стал чувствоваться сильнее. Помнится, какое-то время мама была в ссоре с бабушкой, но мне трудно теперь восстановить последовательность событий. Многие из нашего окружения ездили в деревню менять вещи на продукты. Вообще-то у моих родителей ни тогда, ни после особо ценных вещей не водилось. Мама собрала простыни, пододеяльники, кое-что из одежды и поехала на менку. Все это время, около недели, точно не помню, я жила одна, очень тосковала и, как помнится, голодала. Мама вернулась, привезла картошки и еще кое-какой еды, я уже не помню. Картошку поместили в сарай, который мы делили с несколькими соседями.

Теперь мы чувствовали себя уверенней, спокойнее и зажили повеселее. Мама пекла картофельные оладьи. Первые оладьи были настоящим праздником, казалось, что ничего вкуснее этого в мире нет и не может быть. Но счастье длилось недолго, я даже не успела пресытиться однообразной едой. Хорошо помню, как однажды, во второй половине дня мама ворвалась в нашу комнатушку с криком, рухнула на колени перед постелью и зарыдала. Я испугалась и долго не могла понять, в чем дело, только бессмысленно смотрела, как слезы очень некрасивыми каплями сбегали с кончика носа мамы, а она даже не вытирала их. Пыталась расспрашивать, в чем дело, но она отшвырнула меня, и я отлетела в сторону. Позднее я узнала, что нашу картошку из сарая украли. Потом говорили, что украли ее наши же соседи.

Как мы дожили эту зиму, я не помню. Наверное, бабушка все-таки как-то нам помогала. Позднее мама рассказывала, что в эту зиму она болела брюшным тифом. Бабушка подарила ей теплые шерстяные носки, они оказались весьма кстати, так как у мамы была высокая температура, но она, тем не менее, должна была ходить на работу. Наша бабушка любила дарить подарки, которые затем частенько забирала обратно. Встретив позднее где-то на улице маму, она потребовала отдать носки обратно: все проходило со скандалом, бабушка на всю улицу кричала, и маме было очень стыдно. Мама никогда не могла забыть об этих носках и также, как и я, много раз вспоминала их.

Всю войну, чтобы прокормить нас, мама сдавала кровь. Она была худенькая и слабенькая. Случалось, что, сдавая кровь, она теряла сознание. Однажды соседи сказали мне, что моя мама попала под трамвай и ей отрезало обе ноги. Я ужасно испугалась и сидела тихо, ни жива, ни мертва, во дворе, ожидая маму, так как боялась одна идти домой. Уже начало темнеть, все дети разошлись. Вдруг она появляется живая и здоровая. Моя радость была безграничной! Тогда, несмотря на свой малый возраст, я поняла, что для меня значит мама. Мама рассказала мне, что, сдав в очередной раз кровь, она села в трамвай и отправилась на работу. Ну, сказать, что она «села», в полном смысле нельзя. На самом деле, мама повисла на подножке, так как трамвай был переполнен. В какой-то момент она почувствовала себя плохо и потеряла сознание. Ее как-то поддержали, она не попала под трамвай, но на голених у нее остались царапины от острых трамвайных колес: на том месте, на уровне которого она могла бы потерять ноги, упала она на рельсы. Все кончилось хорошо, и мы с ней в этот вечер были очень счастливы.

Не помню когда, но одну зиму мы провели в Свердловской области у маминой тетки, бабушкиной сестры тети Марии. Уже после войны тетка переехала в Киев, и потому бабушка звала ее «Мареей киевской». Но из этих времен я помню мало. Вероятно, тетка пригласила нас с мамой, чтобы мы смогли немного подкормиться, но в те трудные годы лишние рты везде были в тягость, и позднее наши отношения изрядно испортились. Вспоминаю из тех времен только одну историю. У меня был маленький игрушечный чугунный утюжок. Мама занималась хозяйством, и мне хотелось подражать ей. Мама гладила наше белье, я тоже собрала кукольные тряпочки, но никак не могла сообразить, где разогреть мой маленький утюг. Мама указала на только что вытопленную печку и велела приставить утюг к ее чугунной дверце. Мне показалось, что дверца недостаточно горяча. Я хотела проверить, действительно ли дверца нагрелась, но мама утверждала, что все в порядке. Я не поверила и приложила тыльную сторону правой руки прямо к горячей дверце. Неимоверная боль пронзила меня, и обожженная кожа на моих пальцах прямо на глазах вздулась ужасными пузырями. Мама с криком «ведь я же предупреждала тебя!» кинулась оказывать мне первую помощь. Но рука болела очень долго.

Из этих же времен ярко запомнился мне еще один эпизод. Как-то зимой мама вместе с другими женщинами отправилась полоскать белье в проруби. Вернулась она вся красная, со стонами и слезами на глазах — в холодной воде руки ее покраснели и замерзли так, что у нее «схватило» сердце. Тетя Мария начала растирать ей руки, но мама потом еще долго стонала и плакала. Я до сих пор чувствую ее боль, и у меня так же «схватывает» сердце при воспоминании об этом.

Позднее, когда мы уже вернулись в Саратов, маме удалось устроить меня в детский сад, который я вспоминаю очень хорошо: там кормили, и не было скучно — я не оставалась одна. Нравились мне также игры и занятия. Я была тихой девочкой, и в детсадовском прайде занимала место посередине. Как я уже писала, у мамы были ночные дежурства. В такие дни иногда она брала меня с собой в прокуратуру, так как я боялась оставаться дома на всю ночь одна. Хорошо помню холод кожаного прокурорского дивана и огромных крыс в туалете. В те времена широко были распространены рассказы о том, как крысы съедали детей или слабых стариков. В прокурорский туалет я также ходила только с мамой. Прокуратура для меня была обычным и знакомым местом. Часто я просыпалась среди ночи и не находила мамы рядом. Кто-то говорил мне, что она «на происшествии». Плохо понимая, что это значит, я опять засыпала, не особенно беспокоясь.

Порою же меня некому было взять из детского сада домой, и я оставалась на длинную ночь в кухне, приткнувшись к толстой и мягкой сторожихе. Мы сидели с ней в кухне детского сада, ожидая маму, которая снова находилась «на происшествии». Было тепло, чистотой сверкали огромные медные кастрюли, пахло едой, я не чувствовала себя несчастной и беззащитной. Обычно я даже не всегда помнила, как оказывалась дома, в своей постели.

Как ни странно, но один, казалось бы весьма незначительный, эпизод почему-то до сих пор сохранился в моей памяти. Речь идет о весенней экскурсии всей группы нашего детского сада на Волгу — смотреть ледоход. Тогда не взрывали льдины, и зрелище, которое мы, дети, наблюдали, было грандиозным и неповторимым. Я почувствовала себя маленькой песчинкой в громадном ослепительном мире. День был солнечный, небо ярко-голубое, пахло весной, хотя кругом был снег. Мы, малыши, стояли и с восторгом следили, как мимо нас текла река нашей жизни, неся на своей спине огромные скрежещущие, крошащиеся, трущиеся и налетающие друг на друга льдины.

Я не помню, как я попала опять в комнату нашего садика, как оказалась сидящей за низеньким детским столиком. Воспитательница предложила всем детям нарисовать ледоход. Я, еще не осознав полностью виденного, сидела и не понимала, как можно изобразить то необыкновенное зрелище, которое мы только что наблюдали. Воспитательница подошла ко мне, взглянула на пустой лист бумаги, лежавший передо мной, и велела поторопиться. Но я все равно не знала, как на маленьком листе может поместиться такое ошеломляющее, не поддающееся осмыслению моим детским умом событие, каким является ледоход на Волге. Я стала смотреть, что делают и как справляются с такой сложной задачей мои соседи. И увидела, что все поступали одинаково: у всех лист бумаги был разделен на три, расположенные горизонтально, части. Внизу — белый заснеженный берег, затем синяя вода реки и надо всем этим — голубое небо. Внутренне я удивилась такой упрощенной трактовке события и не могла согласиться с ней. Хотелось подняться над землей и посмотреть на мир, на могучую бурлящую реку с высоты птичьего полета, наслаждаясь грандиозностью зрелища.

Мне необходимо было решить стоящую передо мной задачу буквально за несколько минут, так как воспитательница торопила нас. И я «посмотрела» на Волгу сверху: нарисовала во весь лист синий овал с извилистыми краями и поместила в нем белые льдины. Каково же было мое удивление и огорчение, когда воспитательница, увидев мое произведение, указала мне на всех других ребят, которые «правильно» нарисовали ледоход: «Вот как следует поступать!» Она собрала рисунки, развесила их на доске, а мой выкинула в мусорную корзину. Я знала, что она неправа, но ничего против сделать не могла.

...

В ноябре-декабре 1942 года, после битвы под Сталинградом, папа попал в окружение. От него долгое время не было писем. Я хорошо помню, как мама волновалась и плакала по ночам. Я не все понимала, однако тоже чувствовала какую-то тревогу. Сидя с мягкой сторожихой на кухне, я рассказывала ей о том, что папа нам не пишет. Но потом от папы письмо все-таки пришло. В окружении

он был контужен, а после этого находился на отдыхе в Пензе. Во время войны папа ни разу не был ранен, но несколько раз контужен. После контузии он никогда не лежал в госпитале. Впоследствии это очень повредило ему, так как в пожилом возрасте у него развилась болезнь Паркинсона. Естественно, что основную роль в этом сыграли травмы военных лет, поразившие нервную систему.

Папа звал нас к себе. Из поездки к папе я помню, что по прибытии в Пензу мы с мамой вышли из вагона на платформу. Папа то ли запоздал, то ли не нашел нас сразу, не знаю. Мама для сохранности чемодана поставила меня на него и отправилась искать папу. Она отошла от меня не так уж далеко, но в это время кто-то схватил и меня, и чемодан и куда-то потащил. Мама, увидев, что дочери нет на месте, кинулась спасать меня. Тут появился и папа. Вместе они «спасли» меня и кинулись обниматься. А позднее заметили пропажу чемодана... Мама всю жизнь жалела об этом, но вовсе не из-за пропавших вещей. В чемодане были все наши довоенные фотографии; у нас осталось только несколько штук.

Потом я уже вижу, что мы все сидим в военной комендатуре и мой папа в военной форме с погонями составляет заявление о краже чемодана. Прежде чем начать первую фразу, перо долго дрожит на одном месте — по-видимому, папа собирается с мыслями. Мама же, как и полагается, в слезах судорожно прижимает меня к себе. Естественно, что вещей своих мы больше никогда не увидели. Обиднее всего в таких историях с воровством то, что самое важное — фотографии и документы — ворами не нужны, и они обычно выбрасывают их в мусор.

Помню еще, как в этой поездке где-то при пересадке с поезда на поезд мы с мамой сидели в ожидании на вокзале. К нам подошел солдат: гладил меня по голове, расспрашивал о папе и кормил нас из своего котелка чечевичной кашей. Я была очень стеснительной и боялась есть, мама долго уговаривала меня. Больше я никогда не ела чечевичной каши и потому вспоминала ту, военную: мне казалось, что это была самая вкусная еда на свете.

В Пензе мы жили в какой-то квартире, скорее всего, снимали ее. Хорошо помню еще, как во время мытья рук пемзой я объясняла соседскому мальчику разницу между Пензой и пемзой. Ногти мне мама стригла особыми ножницами: они были складными, то есть разнимались и собирались вновь. В одной из бранш была выемка, и их можно было соединять и разъединять. Эти ножницы хранятся у меня до сих пор, и до сих пор хорошо режут. Никелировка, правда, немного пооблезла.

Думаю, что особо следует написать о вшивости, которая во время войны была распространена повсеместно как среди женщин, так и среди мужчин. У меня также были вши. По дороге в Пензу, где-то на пересадке мы проходили санитарную обработку (санобработку, как тогда говорили). Эта процедура заключалась в том, что людей направляли в баню, а все их вещи — в обработку паром. Мама очень беспокоилась: она боялась, что вещи испортятся или пропадут. Я же только помню, как мы с ней попали в какую-то большую чужую баню: кругом — незнакомые голые женщины.

В нашем огромном саратовском дворе нередкой была картина, когда две женщины брали подушку, удобно устраивались где-нибудь в палисаднике или на окне и начинали «искаться». Делали они это по очереди. Сперва одна клала голову на подушку. Подруга гребешком делила волосы на пряди, отыскивала вошь, прижимала ее к гребешку и с треском давила. Потом они менялись местами. Я тоже подвергалась подобной процедуре, но очень не любила ее. Гребешком называли специальную расческу, пригодную только для борьбы с педикулезом. От обычной расчески гребешок отличался очень густыми зубцами. Им можно вычесывать вшей, но не гнид, Гниды плотно прикреплялись к волосу, их следовало вытаскивать — весьма мучительная и неприятная процедура. Моя мама упорно боролась с гнидами в моей голове, а я в это время плакала.

Существовало одно радикальное средство от вшивости — стрижка, но в те времена, когда все, особенно девочки, носили длинные волосы; остриженная голова сразу бы выдала причину стрижки. Вшивость была обычным делом еще

несколько послевоенных лет. Случалось, что ужасное насекомое выползало в самое неподходящее время на самое заметное место на голове. Среди простых людей тогда, однако, бытовало мнение, что вшивость — нормальное явление, в какой-то степени показатель здоровья. Напротив, если у кого-либо нет вшей, значит, человек болен. К счастью, моя мама придерживалась противоположного мнения. Однажды, уже после войны, я вернулась из пионерского лагеря, — вши пачками сыпались с меня. Тут уж мама взялась за меня весьма энергично.

...

Когда я стала постарше, на лето мама стала отправлять меня вместе с садиком в летние лагеря. Дачные домики располагались в живописной местности средней полосы России. Кругом леса и поля. Но я очень скучала по маме и часто плакала. «Родительские дни» были по воскресеньям, но мама не всегда находила возможность навестить меня. В дни, когда к другим приезжали близкие и привозили что-то вкусненькое, я чувствовала себя особенно несчастной, да вдобавок еще и голодной. Я бродила по окрестному лесу, постоянно натываясь на счастливых своих подруг и товарищей, и мысленно рассказывала маме, как я хочу видеть ее, и как мне плохо.

Эта привычка к внутренним монологам сохранилась у меня на всю жизнь. Если было особенно плохо, если я поступала неправильно, несправедливо по отношению к другим или если меня незаслуженно обижали, монологи становились особенно красноречивыми и длились по несколько дней. Всю мою жизнь я досадовала на то, что никогда не могу ответить остроумно в нужный момент: меня захлестывают эмоции, которые мешают трезво оценить обстановку. Когда мой сын был маленьким, он говорил: «Мама, ты терятельная»: то есть я в нужный момент всегда теряюсь. Зато позднее, остыв и подумав, я становлюсь умной и острой, нахожу красивый и точный ответ, но отвечать-то уже некому. Часто «монолог» длится по несколько дней, вплоть до следующего происшествия. Позднее, чтобы избавиться от давления и стресса, я стала записывать свои мысли и переживания. Из подобных записей получились и эти воспоминания... Однако, снять стресс удавалось не всегда. В более зрелом возрасте я начала понемногу учиться отбрасывать прошлое и продолжать жизнь свою дальше.

В раннем детстве я также была чувствительна к обидам и очень ранима. Не только грубость, но даже невнимание задевали меня. Это было и остается причиной и источником моих страданий, разочарований и горестных переживаний. Я очень чувствительно реагирую на малейшее изменение настроения собеседника. Зачастую, видя невнимание к себе, которое, скорее всего, имеет под собой совсем иную причину, я начинаю воображать, что ко мне плохо относятся. Мне сразу хочется исправить неправильное впечатление о себе, и от этого я становлюсь способной на неожиданные и непонятные окружающим поступки. Всю жизнь мне хотелось, чтобы все любили меня, и я очень страдала, если это оказывалось не так. Только сейчас я начинаю понимать, что невозможно всем угодить и быть приятной для всех. Больше того, теперь я точно знаю, что есть категория людей, которых я раздражаю тем, что просто живу на свете, и с этим уже ничего не поделаешь.

Но вернемся к последним годам войны. Ненависть бабы Капы висела над нами, и мама решила поменять нашу комнатушку на другую, бóльшую. Тогда мне было лет шесть, и мама взяла меня на смотрины новой комнаты, а может быть, меня не с кем было оставить. Не исключено также, что я сама напросилась: я уже говорила, что была ужасная клянчушка и могла выклянчивать желаемое бесконечно. То, что я увидела, оставило во мне неизгладимое впечатление. «Новая» комната также располагалась в коммунальной квартире в полуподвальном помещении, на главной улице города Саратова — проспекте Горького. Как и в романе Михаила Булгакова, впоследствии все пейзажи у нас состояли из ног. Но главное было в том, что в нашей будущей комнате жила многодетная семья профессиональных нищих. Когда мы с мамой вошли, то увидели узкую и длинную комнату без единого предмета. В дальнем углу, на полу, как зверята, дикие

и грязные, прижавшись, друг к другу и затравленно глядя на нас, лежали несколько детей, не знаю сколько. Кругом все имело серый оттенок — стены, пол, одежда, лица. И запах, запах застоявшейся грязи и вечной беды... Эти люди менялись с нами из-за доплаты, которую желали получить от нас, так как их комната была значительно больше.

Вскоре мы переехали: мама отмыла и обустроила наше новое жилище, и оно стало выглядеть вполне уютно. Повесили занавески, появилась какая-то мебель. Здесь я встретила конец войны; последний запомнился мне очень мало. Помню только, что проснулась среди ночи — и дома, и на улице все кричат. Но я всегда была и сейчас остаюсь ужасной соней: я тотчас же заснула. А утром все вроде бы пошло по-старому: мама пошла на работу, я — в детский сад, а папа оставался где-то далеко, на далеком и мало мне понятном «фронте». Нет, конечно, я не совсем права, что-то появилось в жизни — надежда и радость, которые били отовсюду. Жизнь как бы расцвела и осветилась солнцем. После 9 мая 1945 года все мои воспоминания стали яркими и светлыми. И папу мы уже ждали без страха: появилась уверенность, что с ним ничего плохого не может случиться. Но сколько солдат погибло уже после окончания войны!

...

В этот год, как и всегда летом, мама отправила меня с детским садом на дачу. Заведующей была сестра Долорес Ибаррури (очень популярной в те времена деятельницы испанского и международного коммунистического движения) — полная, немного смешная и добродушная дама со странным, с нашей точки зрения, акцентом. Мы, дети, за все время видели ее два или три раза, но как! Она, вальяжная, торжественная и полновесная, выходила из своего кабинета и объявляла: «Сегодня на обед будут блинчики!» Последние слова ее обычно тонули в нашем дружном «Ура!» Излишне говорить, что мы всегда были голодны. И блинчики были малюсенькие, и было их очень мало: два крохотных узелка на тарелочке, в которых что-то завернуто. Чтобы продлить удовольствие, мы их разворачивали, расправляли, съедали отдельно блинчики, отдельно содержимое, а затем долго вспоминали вкусную еду. Для утоления постоянного чувства голода между завтраком и обедом я бродила по окрестному лесу и ела все, что попадалось — грибы, семена растений, стручки и цветы акаций и все остальное. Тогда-то я научилась есть сырые грибы.

Из тех времен вспоминается, что большим лакомством для нас, детей, были жмыхи, получаемые при производстве подсолнечного масла. Среди саратовских детей этот комок отжатых, сухих и пахнущих маслом семечек назывался колобом. Но и эта еда попадалась нам редко — я подолгу с восторгом грызла каждый кусок. Когда мой сын был намного старше, чем я в те годы, я увидела в руках моего папы кусок жмыха — колоба: папины друзья-рыбаки готовили из этого продукта пахучую приманку для рыбалки. Я сказала папе, что в память о моем военном детстве, считаю жмыхи чрезвычайно вкусными. Он засмеялся и протянул мне кусок. Но ведь это невозможно есть! Я тотчас же вернула ему колоб.

А еще мы в те далекие и голодные детские годы жевали смолу или вар, как ее называли. В Саратове в те времена прямо на улице стояли огромные котлы, под которыми были разведены костры — асфальт тогда варили прямо на улице. Однажды я жевала и жевала вар, а потом стала крутить кусочек в волосах. Смола запуталась у меня в голове. С ревом побежала я к маме. Сначала мама отругала меня, потом пыталась распутать комок волос, но ничего не получилось и волосы пришлось выстричь. Так и ходила, пока не выросли новые волосы.

Уже к концу войны и сразу же после нее в Саратове началось строительство, которое осуществлялось руками пленных немцев. Мы, дети, после всех ужасов войны, после фильмов, рассказов очевидцев и пережитых страданий боялись даже смотреть на пленных немецких солдат. Они казались нам монстрами, один взгляд которых может убить. Чудилось, что вот сейчас у них вырастут рога, клыки, когти и они кинутся на меня. Если кто-то из пленных поднимал взгляд, я в страхе убегала. Как же меня удивил услышанный в то время рассказ о том, как одна жен-

щина подошла к пленному и поделилась с ним хлебом. В те времена, когда хлеб давался по карточкам и выстаивался в долгих очередях, этот поступок дорогого стоил. После этого я стала смотреть на пленных иначе. Позднее мой муж рассказывал, что уже в Ленинграде, когда он учился в военном училище, один из его учителей-офицеров встретил среди таких же строительных рабочих немца, которого он в свое время брал в плен. Они обрадовались и в память о прежнем солдатском братстве обнялись. Так мы учились доброте.

...

Летом 1945 года, в последнее мое лето перед школой, я опять была на даче с детским садом. Помнится, тогда на репейнике созрели липкие колючки, и мы лепили из них корзиночки, зверушек и другие фигурки. Эти колючки в то время очень ценились у нас, и у меня была своя «зачаточка», спрятанная ото всех в потайном месте. Однажды, с утра пораньше, еще до завтрака, я решила незаметно проскользнуть к своему тайнику и полетела к нему сломя голову, не замечая ничего и никого. Навстречу же мне попались какие-то люди: идут и мешают. Я натыкаюсь на одного из них, пытаюсь увернуться. Это не удается и я попадаю в плен какому-то военному. Это мне совсем ни к чему, у меня важные дела. Пытаюсь вырваться, но меня почему-то не выпускают. Неожиданно я слышу мамин смех и ее голос, но не понимаю, что она говорит. Наконец до меня доходит, что военный — мой папа. Что тут было!.. Репейники до сих пор лежат там, где я их спрятала: наверное, там выросла целая роща репейников.

Но у меня-то какая жизнь началась! Мой папа — офицер, майор, в форме, ордена и медали звенят на его груди. Он молодой, самый красивый и самый умный. У него фотоаппарат. Мы, — мама, папа и я, — гуляем, сидим за столом, обедаем и везде меня и маму фотографируют, обращают на меня внимание, ставят поближе ко мне вазу с цветами, я в центре внимания! Я счастлива! Папа с нами! Любительские фотографии в те времена печатали контактным способом, у меня и сейчас хранится небольшой альбомчик с потемневшими фотографиями размером пять на семь, на которых с трудом можно разглядеть, какими молодыми и красивыми были мои папа и мама тогда!

Папа дошел до Берлина. Он рассказывал, что так же, как и все, расписался на стене Рейхстага: «Майор Александр Яковлев». Мне иногда кажется, что в старых документальных кадрах, показывающих Берлин в мае 1945 года, я вижу сделанную почерком моего папы надпись. В нашем домашнем альбоме есть фотография папы в военной форме, стоящего у чьей-то могилы. Он рассказывал мне, что снимок сделан в Кенигсберге, а могила — это то место, где похоронено сердце фельдмаршала Михаила Илларионовича Кутузова. Один из моих знакомых, которым я показывала старые альбомы, усомнился в том, что сердце М.И. Кутузова похоронено отдельно. Я стала искать материалы по этому вопросу. В результате поисков выяснилось, что Кутузов неожиданно скончался 16 апреля 1813 года на одной из военных дорог в Силезии. Тело полководца набальзамировали и со всеми воинскими почестями перевезли в Петербург. Рассказывали, что при въезде в город «народ выпряг лошадей и сам вез коляску до Казанского собора». Часть же останков, извлеченных при бальзамировании, запаяли в цинковый гробик и захоронили в трех километрах от Бунцлау на кладбище Тиллендорф. Набальзамированное сердце же, запаянное в серебряную банку, находится слева, в головах полководца.

Из папиных военных рассказов помню еще один. В Берлине они ворвались в какую-то канцелярию. На полу горой лежали гитлеровские знаки «Железный крест». Все стали брать их себе на память. Мой папа также взял один железный крест в красивой бархатной коробочке. Еще папа привез морской кортик, украшенный свастикой. Хранить дома такие «сувениры» в сталинские времена было опасно. Позднее я видела кортик еще один раз. Свастика на рукоятке была выбита, а на ее место вставлена грубо изготовленная красная звезда. Потом эти вещи бесследно исчезли. Куда они делись, я не знаю. В последние годы своей жизни папа, вероятно, рассказал бы мне об истории своих военных сувениров, но я совсем запамятовала обо всем этом и вспомнила только сейчас. Мне казалось, что раз война кончилась, меня сра-

зу возьмут домой, потому что дачу я не любила, чувствовала себя одинокой и сильно скучала. Но, к моему величайшему огорчению, меня оставили на даче. К осени я наконец вернулась в город. Папа привез много необычных, невиданных вещей. Больше всего я запомнила зубную пасту, которую увидела тогда впервые. В Советском Союзе зубная паста в свободной продаже появилась в семидесятые годы, до этого мы пользовались зубным порошком. Помню, что он привез в подарок маме на платье два отреза бархата — синего и бордового цвета. Мамина портниха сшила, по тогдашним моим понятиям, очень элегантные платья. Мама выглядела в них красивой, как королева: в то время она была худенькой, у нее была



**Александр Павлович Яковлев (1944).**  
Из архива автора.

хорошая фигура и стройные ноги. После войны длина юбок держалась чуть ниже колен, плечи были высокими. Синее платье красиво подчеркивало мамину фигуру, а из кармашка на груди веером торчал белый платочек: синее с белым — необыкновенно элегантно. Но мама почему-то не любила эти платья и скоро продала их.

Осенью этого же года я пошла в школу. Моя первая школа находилась в самом центре города Саратова, там, где стоит памятник Чернышевскому. По соседству была консерватория, и позднее здание моей бывшей школы передали в ее распоряжение. Так для меня, семилетней девочки, закончилась война. Но какие же счастливые это были времена! Небо всегда было голубым и безоблачным, а бесконечно яркое солнце никогда не покидало небосклон. Со мной мама и папа, молодые, красивые и добрые. Бабушка живет на площади Революции: хоть от нее и ждешь какого-нибудь подвоха, но к ней можно зайти и поесть замечательных блинов. Где эта прекрасная страна «Саратов 1945 года»? Как же несправедливо то, что я не могу вернуться в нее...

## ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА И ПУБЛИЦИСТИКА

### *Kritiikkiä ja lehtikirjoituksia*



Родилась в Москве, окончила факультет журналистики МГУ им. М.В. Ломоносова, работала журналистом и искусствоведом. В 1994 году переехала в Данию. Занималась радиожурналистикой, сотрудничала с русскоязычными радиостанциями ВВС, «Свобода», «Свободная Европа». Возглавляла Русское общество в Дании. Была главным редактором русскоязычного литературно-публицистического журнала «Берег» (теперь «Новый Берег»). Параллельно с журналистикой и культурологией всегда занималась литературным творчеством. Стихи и проза публиковались в разных российских и зарубежных журналах: «Звезда» (Россия), «Иные берега Vieraat rannat» и «LiteraruS» (Финляндия), «Роза ветров» (Израиль), «Берег» и «Новый берег» (Дания), «Рукопись» (Ростов-на-Дону), в итоговых сборниках фестивалей «Славянские традиции» и «Эмигрантская лира», а также в сборнике «Нам не дано предугадать...» (Нью-Йорк: MIR COLLECTION, 2014). Лауреат литературных фестивалей и конкурсов: «Русский стиль — 2009» (проза), «Под небом Балтики — 2013» (поэзия), «Русский стиль — 2014» (поэзия). Автор сборника стихов и переводов датской лирики «Тень незабудки» (2013), видеокниги «В чужом раю» (2015).

**Нина Гейде**

*Nina Gade*

### **Ловитель моря на приманку строк**

(Рецензия-эссе на книгу  
Евгения Чигрина  
«Неспящая бухта»)

**П**оэзия Евгения Чигрина прежде всего запоминается изысканным узором неожиданных ассоциаций, с первых же строк захватывающих внимание читателя и смело творящих пространство поэтического сюжета и настроения. Счастливого неисключения и его новая книга «Неспящая бухта», выпущенная издательством «Время» в серии «Поэтическая библиотека» в 2014 году.

«Островистые земли...» — промолвишь,  
и — выпорхнет стих  
Васильковым дроздом, даровитым  
певцом порубежья.  
И, конечно, оставлен для рифмы-строфы  
материк,  
Только видится пласт раскурившего  
жизнь побережья.

Или вот эта строфа:

Словарь реки читается с конца,  
Сначала «я», а после остальное.  
Лицо волны, от солнца золотое,  
Морщинится, как кожа мудреца...

И эта:

Мне нашептать тебе бы,  
но — позабылось лето,  
Лето, в котором это делалось наизусть.  
Ветер листает солнце, много сегодня света,  
Света, в котором крепко грусти твоей  
учусь...

И можно продолжать, продолжать...  
Постепенно убеждаясь, что происходит  
погружение в некое новое, необычное

поэтическое явление, которое ни с каким иным не сравнить. Да и не надо сравнивать. А что же надо? Попробовать понять, вжиться, вчувствоваться в эту самобытную поэтическую реальность, налюбоваться всеми ее алмазными гранями, насладиться ее стилистической и ассоциативной гаммой.

Но с чего же начать? А начать, наверное, нужно с поэтической географии Евгения Чигрина. Она воистину необъятна. Книга разделена на восемь глав или, точнее сказать, поэтических измерений: «Островистые земли», «Серая роза», «Смычковая музыка», «Виниловый Хендрикс», «Колониальные песни», «Подводный шар», «Яшмовый берег», «Нетрезвое солнце». Уже по этим названиям легко предположить, что автор приглашает нас в путешествие по самым разным географическим поясам и полюсам. Так оно и оказывается. Мы переносимся из Сахалина в Керчь и Феодосию, от северного моря — «сатанеющего» Охотского — к Черному, где «белопенные волны подобны осколкам фарфора»; после Парижа — города «цвета испуганной мыши» — оказываемся в Брюсселе, где «с метелкой выходит март», потом в Западной Фландрии, в Брюгге, где «облачко гладить стремится башенку», затем в Амстердаме, где «кружева плетут — старинный бзик», потом в Вроцлаве, где «порыжевший лист пролетает скорым», потом в Кракове, Варшаве, на Мартинике... А впереди — еще разморенный, таинственный Восток, почти доводящий до сумасшествия неисчерпаемостью красок, запахов, настроений: Египет, Марокко, Тунис... И это далеко не все географические зарубки на поэтическом древе книги Чигрина.

Тут мы приближаемся к очень важному секрету творчества Чигрина, возможно, к главной разгадке его уникальности: поэт, а с ним и его лирический герой — легко, свободно, естественно и бесстрашно путешествует не только по земным широтам. География затейливого полета музыки Чигрина — это также прошлое и будущее, сновидения, фантазии, кладовые подсознания и даже лабиринты небытия и вообще бесконечное множество иных миров — разумеется, в преломлении поэтического образного видения. Причем все эти измерения у Чигрина не изолированы одно от другого, а взаимопереплетены. Тем самым поэт творит совершенно новую реальность, где, конечно, немало земных примет и все-таки поэтическое действие — точнее действие — происходит как бы больше, чем на земле с ее привычным миропорядком. Автор предлагает нам побывать в новой Вселенной, где мир земной — лишь одна из отправных точек поэтического вдохновения.

О присутствии в иных мирах Чигрин, впрочем, редко заявляет напрямую, но все же иногда проговаривается:

*С какую птицей выдохну строфу  
В знакомый мир, в каком теперь едва ли  
Я окажусь (в других мирах живу)...*

А вот что говорит автор о сути собственного творчества:

*...Вот и чудится-мнится кто-то,  
кто в другие ведет миры, —  
это муза. Ее забота:  
занимательный дух игры  
в тихотворчество возле моря...*

Есть у него и своеобразное предсказание будущего:

*Не Господень ли знак — острова, островки, маяки?  
Может статься, и я — после смерти смешаюсь с Охотским  
Сатанеющим морем. Какие миры и круги  
Заприметят меня — кашалотом, тюленем неброским?..*

Если же говорить все-таки о мире земном — Чигрин не довольствуется прямым отражением его явлений. Он сам творец, и поэтому вольно обращается с жизненным материалом. Что хочет с ним, то и делает — как тот одаренный ребенок, который рисует на «обоях бытия» с его «стандартным узором» — свои необычные загогулины:

*Коровьим взглядом смотрят облака  
В простую жизнь, и жизнь примерно так же.  
Ведет январь в ошейнике снега,  
Меняя контур в маленьком пейзаже.  
Хрусталь и мед — синонимы... Синей  
На ветках, снег, младенческим и всяким!  
Уходит век погонщиком теней,  
Как эскимосы к умершим собакам...*

Все так волшебным образом смешивается в стихах Чигрина — явления природы, легенды, бытовые детали, философские размышления. Из этих разных, казалось бы, несоединимых «пазлов» он составляет одно гармоничное поэтическое целое:

*Шипящие куски пространной речи,  
Безвестный слог, воздушная строфа.  
За валуном три мойры вяжут сеть,  
Вздыхая так, что облако косится,  
Полным-полно в телесном небе ситца,  
Никто не сможет с этим умереть.*

Вообще, вживаясь в творчество Евгения Чигрина, все яснее понимаешь: поэзия для него — не просто некое увлечение на обочине основной судьбы. Это и есть его судьба, если хотите — его экзистенциальная суть. Как говорит сам поэт: «недолгую жизнь я упрятал в лирический миф». Все в его жизни события и впечатления, чувства и переживания — прежде всего исходный материал для поэзии. Только так и никак иначе: «Вдыхай, братан, такое волшебство, весь мир, друган, пиитова чужбина!» — восклицает Чигрин, упрятавший «в слово живинку-тоску». Поэзия для него сверхценна, как уникальное явление жизни души: «По глотку поднимайся по строфам поэтов, душа!» Где бы ни был поэт, что бы он ни делал — он живет, дышит, думает и чувствует поэзией, все пропуская через поэтическое сознание и осознание.

Почти в каждом стихотворении Чигрин так или иначе говорит о процессе стихосложения. Он просто без этого не может. Не может не задаваться вопросом, откуда берутся стихи, чем навеяны, как происходит их рождение и, наконец, куда они ведут, чему служат. Он густо вплетает в стихотворную ткань множество разноцветных нитей-размышлений о творческом процессе и о том, как сопрягаются стихи с разными измерениями бытия, а также и всем тем, что лежит за его пределами. Зачастую даже явления природы для Чигрина непосредственно связаны со стихосложением — стихоявлением:

*Сбегает день, чтоб постареть смогла  
Строфа, в которой музыки негусто,  
За окнами сверчковая игра,  
Материя, с которой слишком грустно,  
Неспешно раскрываются слова  
в потоке алфавита, ведовства  
стоящей надо мной большой луны...*

...  
*...вот облачко родом из тех окраин, казнящих морями.  
Там свет расплывался и мерк, там жизнь становилась стихами,  
В которых лопух вырастал под стать сочинителю Свифту,  
Звенел флибустьером комар во всю комариную рифму...*

...  
*Разрежу мрак, и — Аладдином свет  
Струит по венам постаревшей лампы,  
Переливаясь в дактили и ямбы,  
В плюющийся смысл и накативший бред,  
Сроднившись с одиночеством души,  
Сулящим стихотворное везенье...*

...

*Изогнутое дерево — и мне  
Строку бы изогнуть в таком порядке,  
Придумывая музыку к весне,  
Стремясь стихотворением к разгадке  
Той Киммерии, что художник всем  
Нарисовал...*

*...  
Осень по буковке  
Станет строфою.  
Станет разлуками,  
Старой игрою...*

Мир вообще существует для Чигрина лишь настолько, насколько он назван поэтическим словом, то есть поэтом дотворен. Сквозь это слово, как сквозь цветное стекло, он жизнь и разглядывает, приводя блестящий метафорический образ стихотворения-батискафа:

*В окне пейзаж — припомнишь Писсарро —  
Перешагнешь в стихи, держа руками  
Видение в сиреневом: тепло  
Под серыми, в изломах, облаками.  
Держу в руках видение — тебя...  
Весь в мареве художника ландшафтик,  
В котором ветер, в дудочки трубя,  
Прохожего закутал в мягкий шарфик,  
Одел в пальто и — спрятал за углом,  
Опять Камиль-художник «вынул дождик»,  
Который — раз и — сделался прудом,  
Где рядышком лопух и подорожник,  
Где туча в тучу переходит, как  
Видение в виденье — раз и — сплыло.  
Я так один. Любой ужастик-страх  
По барабану! Пофигу! Квартира  
Меняет облик: тянет тень крылом,  
Над шкафом, подрезая привиденье,  
Штормит за торой шумовым дождем...  
Как в батискафе, я — в стихотворенье...*

*(«Батискаф»)*

Чигрин, несомненно, в поэзии импрессионист — певец мимолетного ускользящего впечатления, пойманного и отраженного его поэтическим зеркалом. Потому так часто в своей поэзии Чигрин обращается к художникам-импрессионистам (Камиль Писсарро, например, был одним из основателей школы импрессионистов). Чигрин, ведомый своей Музой, вдохновенно вольно обращается с «подстрочником бытия» — переводит его на поэтический язык лишь ему одному известным способом и образом, не боясь необычных сравнений и, казалось бы, несочетаемых понятий — таких, например, как «солёный полумрак» или листва, которая «огнем зеленым весела». И у Чигрина это работает, живет, добавляет свой неповторимый «импрессионистический мазок» на общее стихотворное полотно.

Наконец, еще одна уникальная особенность поэзии Евгения Чигрина — ярко выраженная синестезия. Что это такое? В переводе с греческого синестезия — это «смешанное ощущение», или отсутствие фиксированных границ между разными способами восприятия: зрительными, слуховыми, вкусовыми, осязательными. Это происходит, когда сигналы, исходящие от различных органов чувств, смешиваются, синтезируются. Человек не только слышит звуки, но и видит их, не только осязает предмет, но и чувствует его вкус. Например, доподлинно известно, что художник Василий Кандинский был типичным синестетиком. Он слышал звучание красок и даже использовал для описания своих картин музыкальные термины: «композиция», «импровизация». Также и в поэзии Евгения Чигрина элементы синестезии

подняты его мастерством на абсолютную образную высоту. Его поэзия изобилует строками-пейзажами, строками-натюрмортом, есть у него и музыкастихи, и стихи «вкусовые», причем, нередко в одном стихотворении явлена множественная поэтическая синестезия: Чигрин словом одновременно и повествует, и рисует, и исполняет музыку, «в которой птичий смысл качается прозрачными стихами». И так виртуозно говорит о вкусах и запахах, что их начинаешь реально ощущать! Недаром, у него, как он сам выражается, «вкуснее инжира слова» и еще «в каждой букве звук, и музыка везде», а в строфах «течет звучащий рай — рифмованная ртуть»...

Яркий пример чигринской синестезии — стихотворение «В сторону Мандельштама»:

*Завари эту жизнь в золотистом кофейнике мглы,  
Сахаристую речь переплавь в золотые миры,  
Пусть анапест сверкнет, пусть светлеет от ямба в башке  
После века в тоске, после птицы-синицы в руке.  
Завари эту смесь на ромашке, на дольнике, на  
Крутизне-белизне, существительном ярком «весна»  
Пусть когтистая смерть отплывает на вторнике в ад,  
Откуси эту жизнь так легонечко, как мармелад.  
Откуси эту жизнь, чтобы звезды пролились ручьем  
За раскидистый куст, за которым лежалось пластом,  
Чтоб перу — канифоль, чтоб смычок надышался чернил,  
Откуси этот рай от Европы до птичьих Курил.  
Посмотри-ка в тетрадь, там за Стиксом прощаются стихи,  
Там Харон раздаст по тарелке такой требухи,  
Что вторую бы жизнь намотать бы поэтам как срок,  
Заверни этот бред, как лоточник-пацан пирожок.  
Завари эту жизнь в Подмосковье, где буковок рать  
За китайской стеной волшебству обучает внимать.  
Пусть курносая смерть отплывает на вторнике в ад...  
Окупись в тишину: дочитай виноградник менад.*

И еще один отрывок из прекрасного синестетического — «живописного» — стихотворения Чигрина «Ночной E-mail»:

*Персик в руку и — сразу Сезанн возникает в дремучих мозгах,  
Точно кем-то открытый Сезанн, померанцевый колер в словах,  
Что ложатся, как краски на холст, на бумагу чухонскую КУМ,  
Слышу ветер, который не прост: то смиренье, то медленный шум.  
С померанцевым колером Поль смог пробраться в такие пласты!  
Ни герфа, никакой алкоголь, ни запал стихотворной дуды —  
Не заменят струящийся свет: в котелке-черепушке музей  
Да слова, что колдуют сюжет, все стараясь казаться точней...*

Вообще Чигрин настолько самобытен и ни на кого не похож, что не стоит и стараться даже условно причислять его к каким-то литературным направлениям, разве что в своем неподражаемом таланте творческой эклектичности он заимствует черты — «мазки» — разных поэтических жанров и стилей: акмеизма, имажинизма, футуризма, модерна и постмодерна. Но об одном важном свойстве поэзии Чигрина нельзя не упомянуть — она, несомненно, экзистенциальна по своей сути, то есть отражает все многообразие восприятия бытия одной личностью. Рискну сказать, что вся поэзия Чигрина — это исповедь одиночки — человека, который от многого отказался в своей земной судьбе («как много шелестнуло пообочь») ради «колдовской дуды», тех слов, «что горчат, что искрятся счастливой волшбой» — стихов, «что с миром разлучают и смыкают».

*Драконом (хоть не громовым) живу...  
Хотел сказать: я тоже одинок,  
Ворую воздух да гоню строфу...*

...

*Рифмуй меня с печальями, Плутон, драконь, октябрь, циничностью итога.  
Я был затем, чтоб, вспыхнув, поминать, по буквочке выкуривая слово,  
Целую охрентительное «вспять» в еще одном... от Рождества Христова.*

...

*Ну, конечно смогу пережить одиночество с крымским портвейном,  
Пробираясь на лучик стиха, ну конечно, путем нелинейным  
Между бытом и вечностью, и то ли родиной, то ли душою,  
Это искренний бред, это свет старой лампы в обнимку с игрою  
Этой жизни, в которой теперь ничего, ничего не исправить...  
Одиночество — это стихи, у которых дорожками память,  
Как на черном виниле: играй то ли свинг, то ли детское что-то,  
Чтобы к ангелам нежной любви прикоснулась щемящая нота...*

Поэзия Чигрина — исповедь одиночки, но не индивидуалиста, так как Чигрин — поэт в высшей степени эмпатичный, умеющий любить и сопереживать, брать на себя земную боль во всех ее проявлениях, недаром ему «миражится: все в некоем веществе, на два шага от колдовства и боли...»

Он хорошо понимает тех, у кого в жизни что-то не сложилось, оборвалось, чувствует им, обращает к ним строки:

*Вышептываю тем, кто вышел в ноль,  
Кто носит боль под маскою души...  
Французская болезнь, холера, корь —  
Мои стиши.*

«Все в дудочке, все в скрипочке любви» — признается Чигрин, хотя и редко говорит в стихах о любви напрямую («было любви и везенья немного, больше — в мечтаньях и снах»). Любовь у Чигрина часто скрывается в особой интонации стихотворения, его лирическом настроении, в ней «столько ниточек печали», она «течет в непростом глаголе»:

*Мне бы совпасть с тобою в музыке, как в поселке,  
В той полноте, с которой жизнь ощущает вкус.  
И соблазнить ночью, будто стихом в подкорке:  
Стырить кусочек счастья, словно цитатник муз...*

Любовь к родине в стихах Чигрина тоже часто иносказательна, но от этого не менее пронзительна:

*«Рядовой облаков, рядовой незначительных мест,  
Был таким я вчера и, наверно, таким сдохну», —  
Говорю сам себе, подмечая за окнами крест  
Да бредущего к церкви знакомого всем выпивоху.  
Рядовой городов и поселков, где рыбы в реке  
Узнавали меня — простака с тростниковой дудкой —  
По нескромному слову, по яркой бедовой тоске,  
Я — ловец облаков, что плывут над локальной «дуркой»...*

Хоть и пребывает поэт в разных мирах, глядя «в биноклик утопий», сшивая в стихах воедино прошлое и будущее, явь и фантазии, мифы и пророчества, образы мировой культуры и приметы сегодняшнего дня, делясь с нами неисчерпаемым изобилием впечатлений от путешествий по разным странам и городам, но если говорить о той единственной правде души — любви, поэт он все-таки очень русский. После всех своих странствий — за поэтическим вдохновением — неизменно возвращается домой. И вдруг осознается:

*Наконец-то тепло, полюбить бы... Кого мне любить?  
Кроме этой отчизны, которой поэты до фени...*

И говорит еще:

*Помогай мне, Творец, я ослаб в захолустье Твоём,  
Никого не люблю, кроме этой тревожной отчизны,  
Опалившей меня крепким холодом, будто огнем...*

Невозможно не сказать об общей философской основе «Неспящей бухты». Ведь стихи Чигрина — это не «записки путешественника», не пейзажная лирика. Ради только этого он бы и не взялся за перо. В своих стихах поэт так или иначе касается вечных вопросов бытия — «играет жизнь и смерть на дудке-виво»:

*В этом свете что хочешь привидится для  
Самопальной неспешной строфы..  
В этом свете что хочешь смогу объяснить:  
Сновидения, смыслы, холсты,  
Будто сети тяну полуночную нить  
Стихотворства, иллюзий, мечты...  
Так откуда мы? Кто мы? Куда...  
Как до хижин Гогеновых мне далеко!  
Так откуда мы? Кто мы? Куда...*

*...  
Возле мола, возле моря  
Выскажусь сполна:  
С кем-то споря, бездне вторя...  
Жизнь таким сильна.  
Возле моря, возле мола  
Прошепчу слова:  
Каплю горя, строчку вздора,  
Жизнь таким права...*

Наконец, необходимо поговорить особо о поэтическом языке Чигрина — ведь в искусстве владения словом он настоящий виртуоз. Его словарь невероятно богат, причем «в поэтическом хозяйстве» у Чигрина для всего есть место — для штилей высокого и разговорного, для архаики и для сленга. Самое невероятное, что Чигрин умудряется сшибать слова-«аристократы» со словами-«простолюдинами» в одном стихотворении и даже в одной строке — и это не вызывает вкусового отторжения, напротив — добавляет в «поэтическую кухню» неповторимых «специй»:

*Как быстро темнеет над местностью сильное небо,  
С которым контачить в моем одиночестве лепо...*

Даже когда Чигрин, казалось бы, полностью вдруг переходит в стихе на бытовой, разговорный язык, почти на сленг — у него это выходит как-то мастерски азартно, задиристо самобытно и симпатично. Ведь даже на таком «маскарадном» языке разговор у него всегда о серьезном. Автор как будто играет с нами — а как вам размышление о философском, трагическом — в шутовском колпаке?

*Жестянка жизнь, куда загнал себя,  
Пытаясь слыть приятелем Камены,  
Бодая старость, в две ноздри сопя  
Подмазанные рифмами катрены.  
Проснешься в три и думаешь: на кой  
Толкает нерв межреберный к таблеткам,  
Да в голове (по правде) ничего,  
Да смешиваешь чай с письменным бредом,  
Ловя бессмертье — хрен поймает что!..*

И, наконец, высший пилотаж «Неспящей бухты» — это, конечно же, неповторимые чигринские метафоры — чаще всего развернутые. О них можно написать целое лингвистическое исследование. Ведь они, несомненно, душа его поэзии. Они —

весло, которым Чигрин направляет свою поэтическую лодку к новым смыслам, ярким образам, многоступенчатым ассоциациям.

Вот несколько ярких примеров из «Неспящей бухты»:

- «вкатился май, равно веселый стих»;
- «двор залит детворой»;
- «облака-облака, как солдатики, сбились в колонны»;
- «воздух — сплошная влага, словно Творца пеленка»;
- «пустыни легкая рубаша»;
- «свет востока с пенкой золотою»;
- «и море в луже клюквенной зари»;
- «смотрю, как Бог закатом черкнул»;
- «щечкой к воде прилип закат»;
- «быстрых птиц морских кодировки-вести»;
- «дни проносились, будто птичьи стайки»;
- «месяц рыбкою-анчоус живо вымахнул из туч»;
- «луна сургучом нависает над пальмой»;
- «желатин луны на руках жасмина»;
- «то месяц в канареечном пальто»;
- «солнце — желтое шитво»;
- «на шляпах фонарей висит весна»;
- «фонарь заснул уставшим оборванцем»;
- «снег — товарный знак безмолвия»;
- «вся Москва в молочно-белом сари»;
- «взгляни: встает на медленных ногах гранатовым закатом  
подсознание»;
- «плюется жизнь испуганным верблюдом»;
- «по горло тишину нагрызли мыши»;
- «уходит век погонщиком теней»;
- «встанут потемок черепашьи роты»;
- «там прошлое, как скомканное платье»;
- «конечно, снились те места, где сны как будто перепачканы  
вареньем»;
- «мне сновиденья в белой штукатурке с небесной почтой ангел  
переслал»;
- «слегка подкрашивая сны красителями рая»;
- «стихотворенье-дудка смотрит в бегущий век»;
- «в растоптанных ботиночках строфы»;
- «ловитель моря на приманку строк».

И можно опять-таки продолжать и продолжать, находя в стихах Чигрина много новых неожиданных образов и сравнений, наблюдая, как поэт «в растоптанных ботиночках строфы» путешествует по свету, по разным мирам, по своей душе, а через поэтическое слово — и по нашей. Как он «ловит море на приманку строк». Ведь не случайно море — его излюбленный образ. И, опять призывая на помощь метафору, можно сказать, что речь тут идет не только о морях земных — Охотском, Черном, Красном — воспетых поэтом. Дело тут вообще — в море житейском, куда Чигрин-поэт погружается в «батискафе-стихотворении».

«Неспящая бухта» — конечно же, тоже образ метафорический, многослойный. Каждый читатель волен толковать его по-своему. Для меня — эта та неспящая бухта Чигрина, куда постоянно прибывают с товаром «корабли-впечатления», которые поэт всегда готов принимать и «разгружать» и, отсеивая лишнее, преобразовывать мимолетные впечатления бытия в стихи — «чтоб от любви к живущим плыли строфы»...

Так пусть же «неспящая бухта» всегда будет полна кораблей, а у читателей будут новые книги замечательного российского поэта Евгения Чигрина.



Российский индолог, филолог, писатель, литературный переводчик, поэт. Окончил Институт восточных языков при МГУ. Доктор филологических наук. Тема докторской диссертации: «Художественные направления в поэзии хинди (40-е-80-е годы XX века)». С 1970 до 2002 года работал в Институте мировой литературы им. А. М. Горького Академии наук СССР, с 1991 года в Российской академии наук. Автор многочисленных научных статей и трех монографий: «Хариванирай Баччан» (1979), «Общество. Культура. Поэзия» (1989), «Современная поэзия хинди» (на языке хинди) (1984), а также брошюр: «Древняя и молодая. Проблемы и образы современной индийской литературы» (1987), «Показания свидетелей защиты. (Из истории поэтического подполья 60-х годов)» (1992).

Автор романа-исследования о Елене Блаватской, изданного в разные годы в пяти московских издательствах, в том числе в серии ЖЗЛ в издательстве «Молодая гвардия». Автор семи поэтических книг: «Случайная игра» (1994), «Чувство бытия» (2002), «Мерцающая тьма» (книга-билингва, перевод на латышский язык, 2004), «Предвестие» (книга-билингва, перевод на латышский язык 2007, 2008), «Западание клавиш» (2010, 2011, 2012), «Скользят тени» (2011), «Неоконченное прошлое» (2015). Лауреат премии И. А. Бунина (серебряная медаль, 2007).

**Александр Сенкевич**  
*Aleksandr Senkevich*

## Уроки от Сергея Голлербаха

### Случайная и счастливая находка

В июне по раскаленным жарой улицам Дели долго не походишь. На открытом пространстве воздух тяжел и душлив. Он вынуждает передвигаться короткими пробежками от одного тенистого укрытия к другому. В 1989 году, накануне затяжных дождей, во время короткой передышки в тени под сводами торговых рядов на Коннот-плейс, состоялось мое заочное знакомство с Сергеем Львовичем Голлербахом. Если быть совсем точным, оно произошло в том месте, где прямо под ногами расположился книжный развал. Мне бросилась в глаза лежащая на асфальте книга на русском языке. Среди изрядно потрепанных романов на английском и хинди она выделялась новеньким видом и глянцевою светло-зеленой обложкой. Название книги было обыкновенным: «Заметки художника».

Несмотря на тривиальность названия, книга привлекла мое внимание предельно ясной и графически эффектно выполненной обложкой с изображением склоненного над альбомом рисующего человека. Под ним было факсимиле подписи автора. По манере исполнения виртуозно сделанная зарисовка была настолько индивидуальной и стильной, что без преувеличения изобличала в авторе книги искуснейшего мастера.

Понятно, что я не мог пройти мимо такого невообразимого события, почти чуда — появления редчайшей книги в самом неподходящем для нее месте, в ином жизненном

пространстве. Фамилия Голлербах была мне хорошо знакома. Я читал сочинения Эриха Голлербаха, выдающегося русского искусствоведа, художественного и литературного критика эпохи Серебряного века. Разумеется, я тут же купил эту невесть откуда взявшуюся книгу. Оказавшись в гостинице, при кондиционере, я чуть ли не залпом ее прочитал. Это был, несомненно, мой просчет. Подобные книги читают медленно, продвигаясь к концу повествования в том же темпе, как пьют коллекционные вина, не торопясь и смакуя. Это мне в дальнейшем предстояло испытать. «Заметки художника» стали, как говорят, моей настольной книгой, а точнее — дорожной, даже моим оберегом. Если учитывать то обстоятельство, что я брал ее в свои долгие и опасные путешествия по Гималаям и не раз перечитывал, открывая наугад страницы.

Книга «Заметки художника» вводила меня в тайну познания человека необыкновенного в своей обыкновенности и приземленности. Мысль Голлербаха, что «у искусства есть своя книга Бытия» — своего рода камертон, по которому настраиваются тематика и общее построение его размышлений о жизни. Это касается не только «Заметок художника», но также всех книг Голлербаха. Все они напоминают записные книжки писателя и художника, умеющего «зреть в корень», при этом не утрачивая способности видеть небо в чашечке цветка.

Спустя десять лет я наконец-то встретился с автором «Заметок художника» — Сергеем Львовичем Голлербахом. Тут опять помог случай. В Париже в доме моего друга Ренэ Герра я случайно обмолвился о своей книжной находке и об обстоятельствах, ей сопутствующих. Какова же была моя радость, когда я узнал, что Ренэ Герра уже много лет дружит с Сергеем Львовичем и даже публиковал его книги в своем издательстве «Альбатрос». Телефон Голлербаха в Нью-Йорке был мною получен. Вскоре мой любимый автор приехал в Москву, и мы познакомились. Вот какими приятными сюрпризами радуется нас жизнь!

А вообще-то чему тут было удивляться. Ведь прав Александр Бахрах, который утверждал, что «случай — псевдоним незнания». Действительно, наблюдательным и пронизательным людям невозможно усомниться в существовании неких невидимых обычным зрением связей и сближений в мире духа. А также в знаках, предвосхищающих эти мистические встречи.

В совокупности книги Сергея Львовича Голлербаха, особенно итоговая «Свет прямой и отраженный», фундаментальностью наблюдений, рассуждений и выводов продолжают, как мне представляется, традицию «Опытов» Мишеля Монтеня. Как и французский мыслитель эпохи Возрождения, художник говорит со знанием дела с читателем обо всем на свете: об искусстве, о психологии творчества, об истории, о своих эмоциях и впечатлениях от художественных выставок и встреч с разными людьми.

И то сказать, Сергей Львович в наш век всеобщего прагматизма, техницизма, стереотипов и клише пытается как мыслитель возвернуться в ту стародавнюю эпоху, где интерес к личности человека и его деятельности был основополагающим.

На память приходит еще один предшественник С. Л. Голлербаха как писателя-эссеиста — Александр Николаевич Бенуа с его всеобъемлющей эрудицией, безупречным художественным вкусом, умением обрисовывать объекты своих искусствоведческих размышлений масштабно, объемно, не опуская к тому же деталей. Выпущенный в 1968 году в Москве сборник его статей, писем, высказываний «Александр Бенуа размышляет...» возвращал нас в те благословенные времена, когда писали то, что думали, а свои пристрастия к тем или иным художникам передавали речью непринужденной, остроумной и вдохновенной. Вот откуда идет, как я полагаю, традиция эссеистской прозы С. Л. Голлербаха.

**Нестареющее время**

Современная жизнь проходит в убыстренном темпе. Старая, человек ощущает, что сменяемость дней, недель, месяцев и лет идет быстрее, чем в его молодости или даже в пору его зрелости. В молодости время тягуче, как мед, в годы, приближенные к старости, как патока, а когда человек переходит семидесятилетний рубеж, льется быстро, как вода из крана. Кажется, невозможно преодолеть подобное наваждение, избавиться от него. Только люди, трезво осознающие себя в потоке бытия и живущие независимо, без навязанных модой духовных костылей и заморочек, находят выход из такой, скажем откровенно, печальной психологической ситуации. Естественно, каждый по-своему понимает, в чем заключается и где находится этот спасительный выход. Те, кто его находят, не живут по инерции агонизирующего времени. Это люди, как правило, незаурядные и, вне зависимости от полученного образования, по существу своему творческие. Сергей Львович Голлербах как раз один из них. Он не позволяет времени расслабиться в себе и растечься по ручейкам в разные стороны. О таких людях говорят «молоды душой».

Я убежден, что время, с которым имеет дело в теперешней жизни девяностолетний художник, писатель и мыслитель, для него той же плотности и тягучести, каким было и прежде, лет сорок назад. Оно востребовано им с той же молодой горячностью, с тем же неослабным любопытством ко всему вокруг происходящему. Двадцатый век представил время взбаламученное, удручающее и для людей опасное. Две мировые войны, большевистская утопия, нацистский геноцид, истребление китайского народа японцами в 1937–1945 годах, тираническая власть Сталина, сопровождаемая массовыми убийствами собственного народа. Человек переставал быть самодовлеющей ценностью. Он оказывался всегда жертвой, вне зависимости от происхождения, образования и положения в обществе. Идеологическое оправдание подобных злодеяний отличалось разве что приемами, вызывающими ненависть одних людей к другим, и аргументацией необходимости постоянно применять всеобъемлющее насилие. Чтобы осмыслить и принять такое время как животворящую, укрепляющую дух силу и не сломаться, от человека требуется сохранение в себе чувства здравого смысла, умения оценивать сложившуюся ситуацию, преодолевая воздействие всякой пропаганды, оставаться приобщенным к творчеству во всех его проявлениях. Только в акте творчества и в сохранении чувства любви к ближним своим, как полагает С. Л. Голлербах, дано всем нам спасение от унификации и монотонности жизни — одинаковости и повторяемости одного и того же — переживаний, радостей, удовольствий, огорчений, страданий. Ведь только в этом случае род человеческий подтверждает уникальность своего вида, отстаивает свое творческое начало и оправдывает смысл своего исторического существования.

И еще одним ценным наблюдением делится с нами пытливый исследователь мира людей: *«Леонардо да Винчи предполагал, что земля наша дышит как живое существо. Он был прав, хотя и не буквально. Дышит, и дышит по-своему каждая страна, и ощущение этих дыханий разных стран, даже если не осматриваешь достопримечательностей и не знаешь достаточно хорошо истории страны, делает путешествие интересным и насыщающим. Это — прикосновение к чужим жизням, от которого человек становится менее одиноким в своей судьбе».*

**Родословная**

С детских лет Сергей Львович был интеллектуально достаточно основательно подготовлен, чтобы не потеряться в жизни в результате катаклизмов мировой истории. Иными словами, не изменить тем моральным и культурным идеалам, к которым был приобщен семьей и на которых был воспитан.

Теперь несколько слов о родителях Сергея Львовича. Его отец Лев Федорович Голлербах — выпускник Горного института в Петербурге, мать Людмила Алексеевна, в девичестве Агапова, была дочерью генерала по особым поручениям при великом князе Константине Константиновиче и уже в советское время окончила педагогический институт в Ленинграде по специальности «немецкая филология». Его дядя с отцовской стороны — знаменитый Эрих Федорович Голлербах.

Все мы ходим под Богом, но после октября 17-го года, кому жить, а кому умереть, решал не только Он, а в основном «славные ребята из железных ворот ГПУ». Дворянская семья Голлербахов отделалась сравнительно легко — высылкой из Ленинграда в Воронеж после убийства Сергея Кирова 1 декабря 1934 года. Как говорят, не бывает худа без добра. Двенадцатилетний Сережа Голлербах тогда, вероятно, понял, что его родина — Россия, а не Совдепия.

Первые уроки рисования он начал брать в изостудии воронежского Дома пионеров. В 1938 году вся его семья была возвращена в Ленинград, а в январе 1941 года он уже ученик Средней художественной школы при Академии художеств. Потом началась война, и в феврале 1942 года Сергей Голлербах был вывезен вместе с матерью из оккупированного немцами города Пушкина (бывшее Царское Село) на работы в Германию. Его отца, когда началась война, призвали в армию. Он служил некоторое время в авиационной части, но вскоре был комиссован по состоянию здоровья и оказался в Уфе, куда эвакуировали ленинградский завод «Красная Заря», на котором он работал до войны. В этом городе жила в ссылке тетя Сергея Львовича, Анна, жена брата его матери. На ее руках и скончался его отец в 1943 году. До сих пор С. Л. Голлербах бережно хранит фотографию отца с его военного билета, которую переслала ему тетя Анна. В 1945 году Сергей Львович и его мать оказались в американской оккупационной зоне. С 1946 года по 1949 год он учился в Академии художеств в Мюнхене, старейшем учебном заведении в Германии, основанном в 1770 году. Из известных российских выпускников этой школы назову Леонида Пастернака и Василия Кандинского. С 1949 года Сергей Львович живет и работает в Нью-Йорке.

Человеку, отмеченному от рождения «божьей милостью», для того чтобы творчески состояться, необходимы соответствующая культурная среда и талантливые воспитатели, развивающие его природные дарования. Сергей Львович родился толковым ребенком. Емкое русское слово «толковость» объединяет в себе такие понятия, как интуитивная мудрость, обладание здравым смыслом, находчивость. Близкие люди по мере возможности поощряли и развивали в нем это природное свойство ума, весьма необходимое для любой осмысленной работы. Однако с раннего возраста С. Л. Голлербах знал только один язык — русский. Отец и мать не прилагали никаких усилий для того, чтобы их сын знал какой-либо иностранный язык. Они понимали, какую опасность может представлять для него это знание. Родители общались друг с другом по-немецки в тех случаях, когда хотели, чтобы он не понял, о чем они говорят. По-немецки и по-французски говорил с раннего детства и брат матери дядя Сережа. Ведь в совсем юные годы его с сестрой опекали бонны, сначала девушка-немка, затем француженка. Немецкий Сергей Львович Голлербах выучил позднее, поступив в Академию художеств в Мюнхене. Оказавшись в США, С. Л. Голлербах добавил к немецкому языку еще английский и французский. Неспроста все же русский язык оказался единственным средством его писательского общения с людьми. И это несмотря на почти шестидесятичетырехлетний отрыв от русской языковой среды. Подобное феноменальное явление объясняется, вероятно, тем, что склад ума, духовные установки и все, что связано с ними, так называемый менталитет, остаются у Сергея Львовича до сих пор русскими. И как же иначе, ведь его личность была сформирована семейным воспитанием, русской историей и культурой, интелли-

гентной русской речью и русской литературной классикой.

Права народная мудрость: «Что в детстве воспитаешь, на то в старости обопрешься».

#### *Сын просвещения*

Читая книги Голлербаха, в том числе и монументальное сочинение, почти в девятьсот страниц, «Свет прямой и отраженный», а также самую последнюю — «Нью-Йоркский блокнот. Книга воспоминаний», понимаешь, что перед нами, как говорили в старину, «сын просвещения». Пусть не смущает пафосность этого определения. Разумеется, оно звучит явным диссонансом с тем, что происходит в культуре в наши дни. Ведь сейчас устанавливает статус художника в профессиональной среде не его причастность к «просвещению», а «посвящение» в какой-то «изм». Однако лучшего определения для Сергея Львовича Голлербаха, думаю, не найти. Он именно «сын просвещения», своим творчеством восстанавливающий в людях доверие к бытию, об утере которого писал в романе «Доктор Фаустус» Томас Манн еще в 40-е годы прошлого века. С той далекой поры рухнувшая целостность мироощущения не то чтобы окрепла, а еще в большей степени раздробилась. Существует ли вообще возможность ее возвращения в человеческое сознание?

Парадоксальность этой проблемы в том, что она решается не в эмпириях духа (сейчас их заменяет «массовая культура»), а исключительно на земле и связана с самыми что ни на есть прозаическими материями. Вот почему для возвращения утерянного целостного ощущения мира необходимо соблюсти одно важное условие — «войти в колею пристойно размеренной жизни» (Томас Манн). Приобщение к деталям жизни, к ее даже незначительным проявлениям, к ее аксессуарам способствует тому, что человек научается жить. (Вспоминаю в связи с этим высказывание протодиакона Русской Православной Церкви Андрея Кураева: «Жить не умеют, так хоть поубивать мечтают».) Это, как мне представляется, непоколебимое убеждение Сергея Львовича, отправная точка его размышлений, его творческая установка многих лет. Он, по его собственным словам, в своей графике, живописи и писательстве *«отражает состояние момента»*. Художник осознает: приобщение человека к целостному восприятию мира — процесс болезненный и долгий, усложняемый еще и тем обстоятельством, что некоторые *«люди упрямы и жестоки, как дети»*.

Нельзя не заметить, что буддийская максима «здесь и сейчас» точно обозначает пространственные и временные координаты художественного мира С.Л. Голлербаха. Сегодняшняя жизнь со всеми ее оттенками и коллизиями, личностями и типажам, ситуациями и парадоксами довольно полно отражается в его живописи, графике и эссе.

Два года тому назад я назвал свои первые размышления о художнике и писателе «Мудрец из Нью-Йорка». Решил еще до опубликования очерка обсудить с моим героем это, что уж тут говорить, банально названное. И вскоре получил несколько насмешливо-ироническое письмо, соответствующее живому характеру Сергея Львовича:

*«...смущает меня в Вашей статье — это заглавие — “Мудрец из Нью-Йорка”. Когда меня спрашивали, кем я себя считаю, я отвечал: я — свидетель своего времени, рисую, что вижу вокруг себя, а также размышляю о виденном в форме эссе. Вот и все. И какой же я мудрец?! Слышал в свое время такую историю: в начале 20-го века в Сибири один мужичок видел, как кипит вода в кастрюле и подпрыгивает от пара крышка. «Пар есть сила, и ее можно как-то использовать», — решил он, не зная, что паровой двигатель давно уже был изобретен. Во многом и я считаю себя таким сибирским мужичком».*

Понятно, что после такого ответа, я отказался от прежнего названия. Вместо него заголовком стала цитата из пушкинского «Бориса Годунова» — «Опыты быстротекущей жизни».

Читая книги и рассматривая рисунки С. Л. Голлербаха, словно плывешь в лодке по реке с быстрым течением. Перед глазами мимо тебя слева и справа проносятся городские и сельские пейзажи, лица людей, ни на кого и ни на что не похожие в своей затрапезности, в уродстве и красоте. А по воде перед глазами крутится вихрь, в котором сумасшедшая смесь всего того, что в мире ежесекундно выбрасывается человечеством для всеобщего обозрения. Здесь и жалкие ошметки прежнего благополучия, и клочья неотшлифованного, некультурного, развороченного человеческого быта, и мелькающие, едва различаемые тени человеческих судеб, *«зрительно близкие»* художнику и освещаемые на мгновения всполохами страстей и неразделенной или взаимной любовью, и стереоскопические панорамы мегаполисов, где «чистота и красота прикрывают уродство и несчастье жизни». К сожалению, все-таки прав С. Л. Голлербах, утверждая, что *«между красотой и пошлостью пролегла лишь очень узенькая канавка»*.

Как бы ни любомудрствовал в своих импровизационных зарисовках художник, как бы ни играл парадоксами, а все равно ему не спрятать за кажущейся словоохотливостью и ироничностью главный вопрос к самому себе, на который он сам же пытается ответить всем своим творчеством. Уже не одно десятилетие С. Л. Голлербах, как я думаю, разгадывает вековечную загадку: что есть человек разумный и является ли он в самом деле венцом творения? Соблюдая общепринятые нормы приличия, анализируя со всех сторон предмет своего интереса, Сергей Львович балансирует на грани визуальных наблюдений и художественной правды. Человеческая природа столь разнообразна, что наблюдать ее для художника с острым и рефлектирующим взглядом сплошное удовольствие. Естественно, начинает он свое рассмотрение с того, что лежит на поверхности — с размышлений о брэнном человеческом теле. Для С. Л. Голлербаха *«тело человека выражает суть его, является как отражением его внутренних качеств, так и причиной его поведения, интенсивности его чувств, даже обозначает место его во вселенной»*. Если не обращать внимание на присутствие в человеке каких-то моральных принципов и закрыть глаза на его божественную природу, тогда, по беспощадному определению художника, *«тела наши — сосуды нечистот»* и ничего более.

#### *Художник в роли зрительного психоаналитика*

Века проходят, а человек внешне и внутренне все такой же. Это основной вывод из многолетних наблюдений С. Л. Голлербаха над человеческой внешностью и сопряженными с нею человеческими чувствами. Внешность, прямо скажем, в большинстве своем изрядно потрепанная борьбой за выживание и перипетиями человеческого общежития. А чувства, как правило, противоречивые, двойственные и необузданные. Не случайно ведь приметы чужого пребывания в отелях художник сравнивает со *«следами зверей в джунглях»*. И все-таки *«жизнь есть Благо»*. Таков окончательный его вердикт. У С. Л. Голлербаха с годами выработалась орлиная зоркость ко всему, что ходит, летает, двигается в разных направлениях и неподвижно замерло вокруг него. Все это в послевоенной жизни уже не представляет для художника той смертельной опасности, как в годы его молодости. Взяв на себя роль исследователя человеческих чувств и эмоций, а также и *«зрительного психоаналитика»*, он вернул присущий ему с рождения психологический и поведенческий тип личности — экстраверта. Человека дружелюбного, открытого людям, деятельного, любознательного и иногда в своих суждениях неосмотрительного. Он навсегда распрощался с вынужденной маской интроверта, с замкнутостью и осторожностью в общении с согражданами. Со всем тем,

что было ему навязано обстоятельствами довоенной жизни в СССР и положением «перемещенного лица».

Широко известно выражение, идущее от Льва Николаевича Толстого и уже ставшее тривиальным: «глаза — зеркало души». С.Л. Голлербах считает иначе. Для него, как художника, куда важнее губы, нос, уши. И вот почему: *«Они и только они выявляют человека и делают это даже против его воли. Конечно, губы могут расплыться в широчайшую, но показную улыбку, а нос можно нарочито морщить и даже посапывать им, выражая искусственный плач. Но это внешняя гимнастика. Когда же у человека лицо «не занято», когда он «в себе», то губы и нос, их магическое взаимодействие, столь знакомое художнику, создают бесконечное количество постоянных, фундаментальных (а не временных) выражений лица. Например, морщины от носа и от уголков рта, эти «линии жизни» лица, почти встречающиеся, но проходящие мимо, только слегка заменив друг друга. Или угол носа по отношению к углу рта. Или ноздри — сжатые, или узко вытянутые, или широкие, трепетно-нервные. Все это рассказывает опытному наблюдателю о радостях, разочарованиях и горестях человека. У женщин это виднее, чем у мужчин. Уголки рта, подобранность или расслабленность нижней губы, морщинки на верхней — все читаешь как книгу. [...] Уши [...] — это часовые, стоящие под кровлей волос. Они, конечно, не меняют выражения. Но зато как они стоят! Одни — откинувшись назад, заострившись, другие — прямо и крепко, третьи — загнувшись барашком или с выгибом наружу. А мочка или мягка и свободно кругла, или притянута силой к коже. Все это расшифровывается и складывается в пейзаж лица».*

Мыслью, что внутренний мир человека адекватно и рельефно отражается на его внешности, вряд ли кого-то удивит. С.Л. Голлербах оригинален в другом: в виртуозной расшифровке частей и деталей тела человека и в переводе его чувств на язык пластики. Страхи, надежды, страсти людей *«выступают наружу в форме локтей и колен, в походке, в повороте головы»*, и это все невидимое, становящееся видимым, и есть истоки картин художника. Рассуждения о человеческом теле венчает следующий сюрреалистический пассаж, который ставит под сомнение взгляд на человека как венец творения: *«Ноги иксом, колесом, толстые и худые тела, костистые или пухлые колени, острые лопатки, узловатые суставы — Боже, как все разно! И так же, как у зверей, — у людей разнообразие семейств, пород и видов. И вот именно это разнообразие и есть жизнь, любовь, приятие».*

*«Люди — как цветы и травы в поле: тут и васильки, и ромашки, но есть и лопухи, и колючки»*, — заметит С.Л. Голлербах в том же эссе о теле, признаваясь при этом, что ему больше по душе колючки и репейники, ведь *«в них характера больше, как и в людях».*

Все эти размышления непосредственно замыкаются на старом, как мир, роковом вопросе. Каким образом преодолевается старение души и тела? Что содействует их атрофии, приводит человека к уродству и увяданию? Ответ С.Л. Голлербаха: *«Мы все — физические уроды в том размере, в каком не исполнена любви наша жизнь».* К тому же, как он справедливо замечает, *«прекрасных лиц, одухотворенных, добрых и мягких гораздо меньше, чем харь, рыл и морд».* И еще одно наблюдение художника (точнее не скажешь): *«Складки одежды — двойник наших эмоций. Даже если убрать человека, живущего в них, они правильно восстановят его облик. Древние статуи с отбитыми головами и руками — прекрасное тому доказательство».*

Что дает человеку силу, увеличивает его жажду к жизни? Благоговение перед природой, любовь и неиссякаемое любопытство ко всему на свете. Все эти чувства и ощущения, словно сказочные молодильные яблоки и живая вода, сохраняющие в человеке, несмотря на возраст, зрелую и мудрую молодость,

которая мерцает, как внутренний свет, через одряхлевшую и полуразрушенную плоть и вспыхивает искорками в человеческих глазах. Тогда и в старости услышишь «звук жизни — стрекот кузнечика». С. Л. Голлербах не идеализирует биологическую молодость. Он не понаслышке знает, что «молодость, а не старость, самое трагическое время для человека — у него нет еще никаких защитных приемов и навыков, он всему верит и на все надеется». Эта мысль о беззащитности, уязвимости и хрупкости жизни молодых людей приводит к точному по пластике и смыслу образу: «Молодые девушки с обнаженной грудью лежат рядом на плоских полотенцах, совсем как разноцветные сардинки...». Так и представляешь себе, что где-то рядом рыбаки уже забросили сети.

Взгляд С. Л. Голлербаха на молодость по своему смыслу совпадает с буддистскими представлениями о «помрачениях сознания» в годы взросления человека, когда он более всего захвачен эмоциями и предрасположен к потере самоконтроля.

В наши дни тема телесности, вероятно, самая востребованная в искусстве и науке. Все чаще тело не противопоставляют душе, а соотносят с ним основные координаты человеческой психики: разума, стыда как формы самосознания, совести, воли и чувства. Голлербах настаивает на том, что «тело — это ландшафт, лужайки и заросли, бугры, овраги и щели. Все надо принимать, с серьезным любопытством и уважением регистрировать в памяти. Именно это серьезное любопытство и обогащает память и создает близость ко всему живущему».

Тело человека, как его наблюдает Голлербах, ваяется и трансформируется на протяжении многих лет, вплоть до смерти, уродуется неблагоприятными условиями его жизни, болезнями, столкновениями (не обязательно физическими) со своими ближними и вообще с кем угодно. Оно выступает в роли учебника бытия, ключа к загадкам человеческой психики, отождествляется с мирозданием.

В современном мире эксгибиционизм — распространенное явление. Форма десакрализации табу. Один из самых распространенных приемов обратить на себя внимание, будь то исповедальная проза или модные некогда хэппинги. Может быть, эксгибиционизм — это эффектное средство завести публику, вывести натурщиц из мастерской в выставочные залы и оглушить зрителя «голизной». Обыкновенное позирование при использовании дополнительных атрибутов превращается в захватывающее шоу. Сальвадор Дали утверждал, как пишет Голлербах в эссе «Натурщицы», что «все женщины по натуре эксгибиционистки» и позирование удовлетворяет «какие-то психологические потребности женщин. Возможно, нарциссизм, если они молоды и хороши собой, или надежда быть желанными, хотя бы для рисунка углем или карандашом. А может быть, позирование есть своего рода публичное покаяние: смотрите на меня — вот я какая!»

«Но есть, я думаю, еще одно чувство, — продолжает рассуждать Сергей Львович, — побуждающее женщин позировать. Это — какое-то приближение к жизни своим телом. Почти как в спорте. Плавание, гимнастика, танец, даже загорание на пляже, когда тело, свободное от условностей городской одежды, начинает как бы жить своей жизнью, — вот что побуждает человека раздеться и слушать самого себя».

Только смерть, как океан, смывает со всех людей грязь и позолоту посустороннего мира. На Страшном суде нет нужды вслушиваться в себя.

В своих книгах художник с помощью запоминающихся образов и подсматриваемых человеческих типов отважно преодолевает в себе мизантропию

и убеждает читателей, что откровение Алексея Ремизова «человек человеку — бревно» — характеристика внешнего состояния нынешнего человечества. Оно, может быть, довольно точно определяет поведение многих наших современников, которые, существуя в своей обезличенности и безответности, всеми силами и средствами приспособляются к новому социальному бытию. Вместе с тем эта ремизовская формула вовсе не отражает их затаенные чувства и душевные порывы. И, конечно же, не определяет их будущее.

Взгляд Голлербаха на людей то ехидный, то смешливый, то жесткий, но всегда всепрощающий. Взгляд верующего человека. Христианина. Ведь христианство — это религия любви и терпимости. К тому же, как я думаю, художник исходит из постулата Иммануила Канта, что нравственность учит не тому, как стать счастливым, а тому, как стать достойным счастья. К великому сожалению, человечество, в своем подавляющем большинстве, все еще культивирует языческие обряды. Как прав Сергей Львович в своем саркастическом замечании: *«...либерализм, позитивизм и материализм тоже практикуют человеческие жертвоприношения, как это делали ацтеки и майя. Имена богов — вот в чем разница. У майя — Кветцалкоатл, Чаак, Кукулкан. У современных людей — человеческое благополучие, равенство и так далее. А народ гибнет. Ох уж эти идеи! С богами-то проще было!»*

Из книг Голлербаха очевидно, что ему комфортнее общаться с теми людьми, для которых нравственность — мерило всех вещей. Если даже она проявляется не в их делах, а декларируется на словах. И вместе с тем глубинное любопытство художника, искус творчества заставляют пренебрегать этим сомнительным удобством общения только с благовоспитанными особами в устойчивом и ухоженном мире.

Его влечет к себе мир другой (наблюдать его, общаться с ним ему намного интереснее) — быстрый, тоскливый и задорный в своей отверженности, непостоянный и неизменный в своих мещанских симпатиях и привязанностях. Голлербах не сливается с гоношащейся толпой, а выхватывает из нее тех индивидуумов, которые зацепили его глаз своей непохожестью или даже уродством. Он знает, что *«для понимания жизни надо быть наблюдателем, а не участником. Участник, захваченный действием, не может анализировать происходящее с ним»*. Наблюдение у Голлербаха есть акт сосредоточенного мышления, то есть медитации.

Разглядывая посторонних людей и обладая, как Иван Бунин, острой физиологической наблюдательностью, Сергей Львович проникает в самое сокровенное: в подоплеку человеческих отношений. Попутно он пытается понять, из каких фрагментов составлена мозаика его собственной жизни. Иногда мне как читателю представляется, что в своих книгах Голлербах выступает одновременно в двух ролях: художника и модели.

Вот небольшой отрывок из первой книги Сергея Голлербаха «Заметки художника»:

*«Вечером снова наблюдал за окнами. В одном из них молодая женщина баюкала на руках младенца. Тот, по-видимому, не унимался, и она дала ему грудь.»*

*У Ивана Елагина:*

*Снова смерть дала мне повод  
Убедиться и понять,  
Что земную жизнь, как провод,  
Надо где-то заземлять.*

*В этом окне и "заземлилась" жизнь через грудь матери и ротик младенца. А я стоял — "незаземленный". Потом подошел к этюднику, выдавил на палитру немного краски. С улыбкой смотрел, как лезет цветная струйка краски. Вот мое "заземление"».*

Художник фиксирует увиденное выпукло, запоминающе и обязательно с подтекстом, руководствуясь принципом «не верь глазам своим». И все-таки, надо признать, в черные бездны художник не заглядывает, останавливается на краю. Дух эллинов препятствует ему играть с подсознанием в кошки-мышки. К тому же он понимает, что «самое страшное насилие над человеком — это насилие его собственного ничтожества над его самосознанием». И еще неожиданные максимы художника: *«Красота идет звериной тропой. Выживают сильнейшие. И они же — красивейшие», «Когда квадрат превращается в круг, наступает его смерть».*

Метафора и метонимия помогают Голлербаху, не обходя острые углы, избегать прямолинейности и ригористичности. Поэзия ведь для того и существует, чтобы укреплять волю человека к жизни и вносить гармонию в его сознание. К тому же метафоричность языка Сергея Львовича позволяет не доводить эротизм до мягкого порно. Или переходить на стиль так называемого черного юмора. Как, например, в этом словесном пассаже, где Голлербах подходит к грани, за которой его ожидает потеря вкуса, но художник не переходит ее: *«Голые, полуоткрытые животы девушек (между блузкой и джинсами) с пупком — розовой мишенью, Так кажется в спокойные дни. А в беспокойные — пупок, как вытекший глаз слепого. Будто хотели наши внутренности увидеть свет Божий, открыли глаз — и он сразу же вытек, ибо нельзя им лицезреть мир. Это все от жары на нью-йоркских улицах, мысли эти».*

Не фатальная обреченность на сосуществование с мрачными и недружелюбными субъектами заставляет его браться за кисть и перо, а благоговение перед бурлящей и многогранной жизнью. Художник, как все мы, вписан судьбой в эту таинственную и еще никем из смертных до конца не разгаданную жизнь как ее летописец и интерпретатор. Залезая в утробу современной цивилизации, копошась в ее внутренностях, оглядываясь по сторонам в поисках примет ее увядания или расцвета, он осторожно нащупывает будущее — а что в самом деле нас ждет завтра? В Древнем Риме таких людей называли авгурами. А зачем и к чему все это? Чтобы нерадивые не глумились над жизненными устоями! Главное при этом для Голлербаха в своем пафосе пророка самому не потерять точку опоры в жизни. Вот так он и живет, превращая холодную наблюдательность любопытствующего вуайериста во вдумчивую и сострадательную созерцательность мыслителя, полную любви к людям.

В эссе С.Л. Голлербаха я нахожу и *«холодные наблюдения ума»*, и *«опыты быстротекущей жизни»*, и *«сердца горестные заметы»*. А также обзоры художественных выставок в США, очерки о значительных русских художниках, оказавшихся в эмиграции, воспоминания о своей жизни и наброски по памяти о «последних из могикан». Таких как Иван Елагин, Борис Филиппов, Андрей Седых, Ираида Легкая, Александр Браиловский, Алексис Раннит, Роман Гуль, Леонид Ржевский, Андрей Ланской, Ирина Одоевцева, Игорь Чиннов и Юрий Кашкаров. В этих сочинениях, написанных в традиции непринужденных размышлений художников-мирискусников, проявилась еще одна замечательная черта Сергея Львовича Голлербаха — его всегдашняя неременная помощь словом и делом всем талантливим людям. Творческий путь самого художника — впечатляющее проявление независимого духа и таланта, генетически и культурно обусловленного, но многократно окрепшего благодаря счастливой судьбе и многолетнему подвижническому труду.